



Фёдор КРЮКОВ

**Группа Б
(Силуэты)**

**I
Переход**

Можно трогаться: готово. Уже вытянулся в линию обоз. Хвост — на площадке перед костелом, у статуи св. Иосифа, печальника о сиротах; голова — у выхода из еловой аллеи, перед узорчатыми чугунными воротами монастыря. Впереди, на козлах желтого экипажа, торжественный Дудик в шинели с чужого плеча, гордый своей «карафашкой»¹ и парой рыжих полукровок, приобретенных, по случаю, очень дешево — из военной добычи. За карафашкой — санитарные повозки, затем хозяйственные двуколки, в хвосте — фуры с мешками, чемоданами, сундуками, брезентами и кипами прессованного сена, «мерседес» взволнованно фурчит у левого подъезда обители.

Перед подъездом — сестры в кожаных куртках, студенты в солдатских шинелях и овчинных пиджаках, толстый доктор, заведующий транспортом, в черном романовском полушубке, — из-под лохматого навеса манджурской папахи поблескивают очки, а ниже очков собраны в щепоть мягкая розовая пуговица, льняные усы и эспаньолка.

Уполномоченный в серой шапке и серой черкеске, плотный и грузный, с трудом посаженный на гнедого Рустема, глядит статуей командора. Начальник группы Берг, присяжный поверенный с круглым бритым лицом начинающего артиста, в шинели гвардейского образца, в шпорах, покачиваясь, по-кавалерийски слегка припадая на обе ноги, старательно сгибая их дугой, чтобы смахивать на завязанного кавалериста, озабоченно похаживает взад и вперед.

На ступеньках крыльца — озябшая, нахохлившаяся настоятельница обители в черной пелеринке и рядом с ней молоденькая румяная послушница. У настоятельницы на голове белоснежный накрахмаленный лопух величиной с дамский зонтик. Под этим лопухом сизое, озябшее лицо старушки, с носом вроде созревающего баклажана

и толстыми, строгими губами, очень смахивает на великолепный гриб-дождевик, изукрашенный ветрами и солнцем. Из-под другого лопуха, поменьше, лукаво глядят карие веселые глазки маленькой, изящной шаритки².

— Можно трогаться? — говорит Берг недовольным голосом.

Из санитарной двуколки стремительно выскакивает молодой врач Картер с забинтованной (по случаю фурункула) шеей. У него в руках аппарат «Ика» — получше, чем у сестры Осининой.

— Одну минутку, господа!.. Од-д-ну минутку...

Позируют и перед ним. Аппарат заряжен целой полдюжиной пленок. Снят обоз с головы, обоз с хвоста, группа сестер у автомобиля. Снят каменный уполномоченный на Рустеме... Что бы еще зацелкнуть? Живописный Саркиз снят... Остается костел, подъезд с молоденькой послушницей...

— Од-ну минутку!..

Берг озабоченным хозяйским взглядом смотрит на часы в кожаном браслете на руке, огорченно крикает: ушло еще четверть часа...

— Готово. Благодарю вас, — говорит Картер сухим, деловитым тоном.

— По приказу было отдано: выступить в восемь. Не угодно ли? — половина одиннадцатого, — отвечает на это Берг. Он кого-то упрекает, но никто из окружающих не хочет принять этот упрек на свой счет.

— У нас всегда так... Россия-матушка... — лениво цедит уполномоченный. Приказ отдал он и он же способствовал его не точному выполнению.

— Давно все готово, — говорит студент-грузин, начальник обоза, выезжая вперед на кривой Холере, маленькой кавказской лошадке, потерявшей глаз при обстреле Любачува.

— Ну, команду там, Антоша.

— Трогай! эй! — залиvisto кричит начальник обоза.

Саркиз на своем киргизе срывается с места, несется через клумбы, через цветник, к ужасу и негодованию сизой настоятельницы, камнем ныряет на спуске вниз и неожиданно-сильным, хищным голосом кричит: — «...га-эй!» — подхватывая перебегающую по обозу, от хвоста к голове, команду.

Сестра Васильковская, что-то вдруг вспомнив, кричит испуганно и звонко:

— Владимир-Льич! у нас одной нет!

— Здравствуйте! — отступая, восклицает Берг. — Кого это?

— Сестры Савихиной.

— Опять?..

Берг свирепо таращит свои большие, серые глаза, — ему очень хочется быть внушительным и строгим, и чтобы его хоть немножко боялись.

— Мы попросили ее... сходить в город... — склоняя голову набок, говорит виновато Осинина и ласкает глазами красивого, милого, добродушного начальника группы.

— За пирожным, — прибавляет кокетливая Валя из автомобиля.

— Покорно благодарю! весьма обласкан! — оглядываясь, негодуя говорит Берг, — это, что называется, кажинный раз на эфтом самом месте!

Даже автомобиль смолк, застыл от изумления.

— И именно — с сестрой Савихиной...

— Владимир-Льич...

— Да-с, да-с! пожалуйста! В Ольховцах, правда, не пирожное, — просто с Завадским ушла, — язвительно подчеркнул Берг, — а мы два часа по селу искали ее... В Городке — та же история...

— Владимир-Льич...

Сестра Осинина знает свою власть над Бергом и вступается мягко, но настойчиво:

— Мы же просили ее... купить пирожного...

— Пок-корнейше вас благодарю! Что же, до вечера прикажете ждать тут? Прошу вас! — энергичным жестом указал Берг сестрам на автомобиль. — А Савихину, в таком случае, на фуре устроим... Будьте любезны!..

Сестры приняли обиженный вид, но подчинились, потому что красивый студент-электротехник Петренко сел к рулю, а Коврижкин, солдат в зеленых погонах, открыл дверцу мотора и закрутил. «Мерседес» загудел и задрожал. Сквозь жужжащий треск из окна кареты едва слышно донеслись до монахинь певуче-ласковые крики прощанья: «До свидания, пани! пани, до свидания!..»

Белые лопухи на головах монахинь затряслись, закачались:

— До видзенья, пани... до видзенья!..

«Мерседес» попятился назад, вышел на дорожку вокруг клумб и взял по правой аллее. Жужжа, он сыграл приятной сиреной сложный аккорд и обошел обоз. Доктора сели в санитарку. Грузный уполномоченный вышел из оцепенения и потолкал каблуками солидного Рустема. Студенты посадили коротенького Берга на поджарого рыжего Листопада и разместились по фурам.

— С Богом! — без особой надобности скомандовал Берг, расправляя в седле полы шинели. — До видзенья, пани!

— До видзенья! — закачались белые лопухи.

— До видзенья, пани! — козыряя, говорили один за другим студенты, немножко дольше, чем это нравилось настоятельнице, цепляясь взглядами за карие глазки молодой шаритки. — До видзенья... до видзенья... па-ни, до видзенья!..

Тихая обитель осталась позади. Тонкий шпиц костела один провожал шумный караван повозок, — за старыми елями скрылся подъезд

с монахинями. Но когда поднялись на шоссе, миновали последние дома городской окраины, — опять увидели строгие окна храма, сад, аллеи и даже оба белых лопуха, — они все еще маячили в дверях и, видимо, провожали глазами уходящую нить обоза. Значит, жаль... привыкли...

А встретили отряд, поначалу, настороженно и холодно. С безмолвной, неприязненной покорностью монахини предоставили непрошеным гостям, пришедшим на смену другим таким же, холодные классные комнаты своего приюта, с голыми стенами, неудобные и пустые, без всяких признаков мебели. Озябшие сестры принялись устраивать временное хозяйство.

Студенты мягко спрашивали:

— Пани, нельзя ли поленце-другое дровец?

Настоятельница трясла белым лопухом: ничего не понимаю, дескать. Студенты убежденно говорили друг другу, что врет старуха, все слышит, все понимает. И сумели разговориться с хорошенькой черноглазой послушницей, всюду сопровождавшей старуху.

— Не найдется ли у вас, пани, чего-нибудь вроде стола? может быть, скамейки две-три?

— Ни, панове, все сожгли русские жолнежи...³

— Да мы уж не о дровах, мы — насчет мебели.

— И мебель сожгли... паркет... все... все...

— Ну, пани, зачем же это говорить? Паркет цел и невредим.

— Деревья в саду рубили, жгли... Какие елочки были... грабы... буки... Ах, всего не можно сказать! Что они сделали с уборными!.. Не можно сказать...

Но, когда новые постояльцы немножко обжились, монахини увидели, что жить с ними под одной крышей еще можно: солдаты не рубили елок в аллеях, дров навозили из лесу — и не только для потребностей отряда, но и монастырю дали. Сестры давали вина и лекарств для монастырских больных. Коридор вычистили, вымыли, привели в порядок уборные. Заплатили деньги за картофель, накупили за хорошие цены разных монастырских вязаний и ковров. Лед растаял. Из каких-то таинственных складов появилась недурная мебель, открыты были, кроме голых классов, другие комнаты — поменьше, поуютнее, с письменными столами и мягкими диванами...

Хорошо стало, тепло, ласково. Приютские ребяташки забежали на половину, занятую отрядом, за гостинцами. Молодые шаритки и девочки-ученицы заглядывали под разными предлогами в столовую, где собирались студенты-санитары и играли в шахматы, спорили, смеялись, пели. А когда в костеле шла служба и звуки органа залетали в классы и коридор, — во всем корпусе наступала странная, необычная тишина. Орган за каменными стенами звучал мягко, грустно и величаво. На окнах в холодном коридоре сидели сестры и студенты,

молчали, слушали. Издалека доносился и падал в певучую речь органа глухой рокот канонады, загадочное, мутное эхо вражды человеческой. И чуть слышно отвечали ему тоненькие детские голоса, робким хором исполнявшие под аккомпанемент органа заученное песнопение...

Сжималось сердце болью невыразимой, немой печали...

Толстый доктор, колыхаясь в санитарке, сказал, вздыхая:

— Эх-хе-хе... вот и еще один этап пройден... Много ли остается их на мою долю в книге судеб?

Картер, совсем еще зеленый юноша, безусый, жидкий, высунулся из санитарки, чтобы поглядеть на монастырь. Помолчал и тоже вздохнул.

— А хороша была стоянка.

— Гм... да... — проговорил толстый доктор, закуривая папиросу, — эта... черноглазенькая... она не дурна...

— Нет, я не потому, — возразил Картер, слегка смущаясь, — оригинально: монастырь, старая культура, веяние чего-то такого... не будничного... и все такое...

— Опять меня закачает, — мрачно проворчал толстый доктор, — лучше бы на фуру сел... Простый раз, из Ольховцов поехали... как раз пообедал... Ну и тянуло! Не только обед, а все, что когда-либо ел, все вывернуло наружу...

Картеру хотелось поговорить о монастыре, о холодном, сумрачном, гулком костеле, о таинственных тенях старой жизни, скрытых в старых стенах. Но поглядел на пухлое, угнетенное лицо доктора и ничего не сказал. Нет, то — другой мир, чуждый насмешливому позитивизму: сумрачные своды, дубовые парты, безмолвные, замкнутые монахини в белых лопухах, фантастические беззвучные уродцы, карлики, горбуны по темным углам, одинаковые детишки, попарно, топоча ножонками, всыпавшиеся в холодную пустоту храма, с одинаково сложенными ладошками перед животами, с одинаково опущенными головками... И орган — медлительный и полнозвучный, наливавший сумрачную высь костела волнами торжественной музыки... Другой мир...

И вот он — позади.

— До видзенья, пан доктор... — звучит еще в ушах певучий голосок черноглазой шаритки.

Чуть-чуть грустно. Слово осталось какой-то милый кусочек своей жизни в тихой обители. Жаль настороженных, запуганных монахинь, выбитых из колеи маховиком взбудораженной жизни, разоренных, голодающих. Кто-то придет к ним завтра, какие новые жолнеры принесут с собой шуму, грязи, незаметных, но больных обид?

— До видзенья, пани, до видзенья... Жаль мне вас...

Грустно, но легко... Тянет вперед, ближе к гулу канонады. Радостно волнуется новое — места, люди, обстановка, — все где-то уж виденное, но каждый раз — новое...

Ушла из глаз площадь с блестящими лужами, глянцево-черная, изборожденная тысячами солдатских ног. Остались позади окраинные домики городка. Сутулые евреи с вытянутыми шеями и ищущим взглядом в последний раз сдернули картузы перед санитаркой с докторами. Пошли по бокам черные, зеленые, буланные поля с редкими пятнами снега. Глянцевое шоссе, прямое и широкое, рассекло холмистую пашню пополам, впереди нырнуло в лощину, кремовой лентой всползло на гору и спряталось в синем перелеске.

И словно с ярмарки, необрывающейся цепью тянулись навстречу, по левой стороне дороги, пешеходы в шинелях, подобранных до пояса, всадники в зеленых брезентовых плащах, волосатые мужики в белых овчинных кожухах⁴ около убогих тележек, военные фуры, двуколки — все забрызганное глянцевой шоколадной грязью, мокрое и веселое под ясным небом, на солнышке.

Озабоченно проскакал, брызгая грязью, Берг. Сперва от головы к хвосту обоза, потом от хвоста к голове. Явно — не было надобности в этом беспокойстве: обоз шел в порядке, дорога известна, опасностей не предвиделось. Но Бергу нравилось быть сейчас деловитым и озабоченным. Фуражка мятого фасона, обычно сбитая набекрень, как у настоящего какого-нибудь забулдыги-кавалериста, теперь сидит на голове серьезнее и глубже. В лице — напряженное внимание и строгость: «у меня не балуйся!». Толстый доктор подмигивает ему, словно хочет сказать: «Брось, никого не обманешь!» Берг отвечает холодным взглядом и исчезает с деловым видом — опять к хвосту.

— Горкин-то... Горкин-то... — весело фыркает толстый доктор, — настоящий полководец.

Когда Берг снова равняется с санитаркой, доктор кричит ему:

— Ваше благородие! господин начальник группы!

— Ну что, господин Недоразумение?

Бергу хочется показать, что в данный момент он не расположен к фамильярности и шуткам: он — при исполнении обязанностей, не следует этого забывать. Доктор Недоразумение не хочет этого знать. Он — циник, шутник, резонер и обжора. Не дурак выпить. Хорошо делает лимонную настойку из спирта и, кажется, именно поэтому преувеличенного мнения о себе, о своих познаниях и своей роли в отряде.

— В Криводубах обед будет? — спрашивает Недоразумение, хотя и знает, что будет.

— Уже? кушать захотел?

Шипя шоколадною грязью, жужжа, брызгаясь, пронесся автомобиль. Берг проводил его завистливым взглядом: в сущности, мог бы и он, Берг, начальник группы Б, кататься на такой же машине с такой же продуктивностью, как этот штабной господин или из Красного Креста. Но... нет справедливости на свете...

— А там... приподняв... за-на-вес-ку...⁵ — запел он голосом, похожим на звук отсыревшего бубна, оглядываясь озабоченным взглядом на холмистые поля, согретые солнцем.

Доктор Картер, любитель пения и человек тоже безголосый, тотчас же взмахнул в воздухе рукою, дирижируя, и подхватил:

— Лишь пара... го-лу-у-бень-ких... глаз...

Пели громко, усердно, не смущаясь тем, что выходило немножко дико и нестройно, что, козыряя, улыбались забрызганные казаки, пробежавшие мимо рысью, на поджарых лошадках с подвязанными в узел хвостами, — что весело скалила зубы куча краснощеких девчат на телеге человека в белом кожухе. Было беспричинно весело, ясно, легко...

Конец декабря, но тепло, солнечно... Земля, как весной, дымится, поля влажно-черны, ярко-зелены редкие озими. Вдали, по горизонту, лиловеют рощи, синеют горы. В бирюзовом небе четки тонкие шпильки костелов, заводские трубы, зубчатые, зелено-черные гребешки старых елей, телеграфные столбы, гипсовые Мадонны и кресты у дороги. Тонким жемчужным куревом курится земля. И в теплом этом куреве разноцветные холмистые поля, исхоженные солдатскими ногами, изрытые мужицким плугом, солдатскими лопатами и снарядами, сотрясаемые далеким гулом канонады, все-таки тихи, покорно-кротки и так знакомо-близки ласковой красотой далеких полей родины... И так беспричинно весело среди них, легко, ясно, и так поется...

— ...А там... приподняв... за-на-вес-ку...

Снова и снова заводит Берг. И оба доктора, надуваясь, чтобы перекричать треск колес, присоединяют свои тусклые, но усердные голоса:

— Лишь пара... голу-у-у-бень-ких... глаз...

Доктор Недоразумение на высоких нотах лихо трясет головой, обрывается, кашляет, харкает и плюет. И, прочистив таким способом свой инструмент, снова заливается и трясет лохматой папахой. Интересно, в сущности, жить без своей воли, минутой, не думая, не чувствуя докучной заботы будней, жить, приспособляясь ко всяким неожиданным, перекидываться с места на место, узнавать новые уголки человеческой жизни, из тесноты и грязи мужицких халуп попадать в хоромы магнатов, полуразрушенные, разграбленные, оголенные, печальные и трогательные в своей трагической растерзанности остатками старины, роскоши, вкуса... Переживать моменты опасности, напряженной работы и окунаться потом в тихий омут полного безделья, проигрываться дотла, в редкие, удачные минуты напиваться, влюбляться, разочаровываться... с похмелья вглядываться в диковинные сочетания жизни, ждать каких-то невидимых откровений их смысла и, не осилив подавляющей простоты ужасов и разрушения, махнув рукой, бесконечно повторять диким голосом пошленький мотивчик:

— А там... при-под-няв... за-на-вес-ку...

Долг службы, однако, прежде всего. Берг внезапно вспоминает об этом, озабоченно хмурится и с места галопом несется вперед, к голове обоза. Кажется, все в порядке. Не совсем, правда, пристойно, что сестра Дина забралась на козлы и почти сбила с облучка черного Карапета Холуянца, конюха. В руках у ней веревочные вожжи, которые она беспрестанно дергает вправо и влево, сбивая умного Шарика с толку. Кричит встречным прапорщикам: «Вправо держи!» — таким лихим солдатским голосом, что недостает лишь обычного солдатского крепкого словца для полноты стиля... Не очень это как будто пристойно, но что сделаешь с этой «слабой женщиной», неукротимой в скандальных словесных схватках и истерических сценах?..

— Владир-Льич! — кричит она в спину начальнику группы Б.

Он притворяется, что не слышит, — Бог с ней. Волосы седые, а сердце влюбчивое, характер же несносный... Подальше от нее...

— Владир-Льич! слышите? ау! Во-воч-ка-а!..

Она перехватывает его, когда он скачет от головы к хвосту обоза:

— Владир-Льич! один момент!

— Ну-с... что прикажете? — говорит он сухо, осадив Листопада и равняясь с санитаркой.

— Слушайте... Вовочка... вы оглохли, сударь мой?..

Берг хмурится и, держа руку «на бедро», по-кавалерийски, говорит ледяным тоном:

— Пожалуйста, сестра, что вам угодно?

Дина гипнотизирует его немым взглядом. Она уверенно знает, что взгляд ее неотразим...

— Пузырь вы этакий... смешной... Хорошо я правлю?

— Гм... восхитительно...

— Нет? серьезно?

— Лучше не... гм... некуда...

— Я дома всегда тройкой правлю... у нас свои лошади... Бутербродик хотите? с ветчиной?..

«И все-то врет, все-то врет...» — мрачно думает Берг и мрачно отказывается от бутерброда, хотя есть уже хочется.

— Ну, шоколадку?

И не дожидаясь ответа, сестра Дина оглядывается внутрь санитарки, к сестре Софи: — Софи! дайте ему шоколадку... он хочет шоколадку!

Увядшая, некрасивая Софи, с кирпичным лицом и большим синим родимым пятном около носа, кокетливо поет:

— Он хочет шо-ко-лад-ку...

— Мерси... я вас обожаю, — говорит Берг, сострадательно глядя на ее мешки под глазами и синее пятно около носа. — «Бывают же такие... несчастные...» — думает он жалостно, забывая в рот шоколадную плитку.

— Только не меня... толь-ко не меня... — краснея возражает Софи.

— И вас, и Дину, — беззаботно уверяет Берг набитым ртом.

— И не Дину... Вы хотите сказать: Лизу Осинину?

— Вы мало проникательны...

— Ну, ну... не сердитесь... я шучу...

Сестры все неравнодушны к начальнику группы Б, — у него такие мягкие, бархатные глаза, милое жизнерадостно-круглое лицо молодого актера, забулдыги и мухобоя⁶. И весь он такой круглый, мягкий, простодушно-ветренный, милый, славный. Хроническая, непрерывающаяся борьба идет из-за него в группе, в женской ее половине... А он легкомысленно переходит от увлечения к увлечению, плодит глухие раздоры, беззаботно возвращается к старым кумирам, беззаботно выносит упреки и слезы, беззаботно съедает весь запас шоколада в уютной пристани и снова потом пускается в путь новых сердечных приключений...

— Владимир-Льич! — говорит нежно Дина.

— Слушаю-с?

Ей хочется сказать что-то интимное, необыкновенно важное, но здесь этого нельзя. Она дает понять это долгим загадочным взглядом и длинной паузой. Говорит:

— Почему Шарик хорошо везет, а Запятая капризничает?

Берг дожевывает шоколадную плитку, вытирает губы перчаткой, смотрит на Запятую, тощую молодую полукровку, изучающим взглядом и говорит тоном знатока:

— Просто, Шарик — добропорядочный сибиряк, а это — помещи-чья калечь... Навязалась — ну ее к черту — на нашу шею! Подвеселить вот ее...

Берг поднимает нагайку, Запятая испуганно танцует в сторону, сестры визжат:

— Не сметь!.. Себя хлестните, попробуйте!..

Берг пренебрежительно отмахивается и пришпоривает Листопада.

— Пузырь! — кричит ему вслед Дина.

— Пузырь! — повторяет, сверкая глазами, Софи, и черный Карапет, спрятав глаза в черные щели, довольно скалит свои зубы.

В Калиновщине проголодавшийся доктор Недоразумение спросил:

— Не Криводубы?

— Нет.

В Белобожнице опять спрашивал. В Дубарове — тоже. Но осталось позади село за селом, все на одно лицо, а Криводубы все еще где-то впереди были. Проходили одинаковые каменные костелы и старенькие, почерневшие деревянные униатские церковки, смиренные и бедные. Знакомо глядели крохотными квадратными оконцами одинаковые глиняные мазанки, зеленел знакомый мох на черных

соломенных крышах, ровными гривками сползавших к голубым стенам. Везде — в обглоданных голых садиках — коновязи, кучи навозу, солома. На низких плетнях солдатские рубахи и подштанники. У колодцев — смеющиеся девчата и около них группа казаков, ребятишки в рваных родительских пиджаках, кофтах и солдатских гимнастерках. За селами — старые ветлы об дорогу с обрубленными ветвями и веером разметавшимися молодыми побегами, рощи, аккуратно распланированные, подчищенные, теперь — с зияющими следами свежих порубок. И влажно-черные поля, а на горизонте — потухшие заводские трубы, белые панские фольварки⁷ и голубые горы...

К половине четвертого пришли, наконец, в Криводубы и сделали привал в пункте расположения группы А. Криводубцы встретили шумно, радушно, — две недели не виделись, давно не бранились. Принялись кормить и хвастаться.

Хвастались бездной работы, близостью опасности, цифрами, показывали осколки разорвавшихся снарядов...

Все это было интересно, но не так чтобы приятно для группы Б. Между группами шла глухая борьба из-за славы. Порой скрытый антагонизм прорывался в открытую войну, в язвительную переписку и взаимную пикировку, особенно едкую и злую до неугасимости между сестрами. Но теперь, после долгой разлуки, в атмосфере чувствовалось одно товарищеское благорасположение и — только... Надежда Карповна, врач, водила гостей по ободранному школьному зданию и показывала достопримечательности — новую печь, сложенную студентами, и неуклюжие двери, сколоченные из досок.

— Ничего не было, все — сами, — говорила она. — Печь — это Симонята собственными руками... правда, дымит, но она еще не обстоялась... Двери — это Макаркина работа...

— Не за эту ли заслугу Макарка напялил погоны зауряд-врача?⁸

— Он имеет право: с третьего же курса...

— Гм... сомнительно...

— Его тут так и зовут крестьяне: капитан Макаров...

— Гм... Росту ему не хватает для капитана: шкалик...⁹

— Но по хозяйственной части — гений.

— Ну уж... гений. Бабу нагайкой высек и уже — гений?

За обедом чуть-чуть повздорили из-за поваров. Криводубцы перевозили своего Моськина. Правда, пирог, сооруженный им по случаю приезда гостей, был чудом кулинарного искусства. Группа Б признавала это, но настаивала на том, что ее повар — Тужиков ворует меньше, а готовит ничуть не хуже.

— Приезжайте в наш Звиняч — мы вас не такой еще кулебякой угостим.

— Свиняч, — сказала Катя Петрова, — одно название чего стоит...

- Звиняч, — поправил густым басом высокий студент Михайлыч.
- Свиняч! — упрямо повторила Катя, — свинячая группа...
- Как это тонко, — вспыхнув, сказала сестра Осинина.
- И учено... — прибавила маленькая, остроносая, с темными усиками Гиацинтова: звин — по-малороссийски — звон и название «Звиняч» — одна поэзия... Во всяком случае — звучнее, чем Криво-дурь... то бишь... Криводубы.
- Господа, мешаєте аппетиту! — с трудом, набитым ртом, сказал Михайлыч. — Дайте поесть, а потом — филология...
- Михайлыч, милый! зачем вы пошли в свинячую группу? Оставайтесь у нас...
- Дайте прожевать, ей-богу!..

II

На месте

Длинный полковник в вязаной фуфайке, серый, весь из углов и ломаных линий, с маленькой, коротко остриженной головой, дивизионный интендант¹⁰, был изумлен, огорчен, выражал тысячи сожалений и извинений: ей-богу же, он не знал, что школа уже отведена штабом под перевязочный пункт! Как же его не предупредили? почему ему не сказали? Студент? Никакого студента он не видел... Видел учителя, видел войта¹¹, видел, что школа не занята, — занял: не под открытым же небом оставаться ему со своей канцелярией.

Он мелкими, частыми шажками, словно подтанцовывая, метался из угла в угол, шумно вздыхал, ахал, охал, а Берг, рядом с ним, несуразно длинным, погнувшимся вперед журавцом¹², кругленький, чистенький, мягкий, наивно повторял:

— Мне же лично начальник штаба... сам... предоставил на выбор... я выбрал школу... Сам начальник штаба...

— И напрасно! и напрасно! — тонким, хворым голосом воскликнул полковник, — помещение сырое... гроб... У меня ноги, знаете ли, барометра не надо... Сырость ужасная...

Бурое лицо его с гусиным носом страдальчески сморщилось. Берг пожалел и почувствовал угрызение совести, что столь почтенного, большого человека приходится беспокоить. Вздохнул и сказал:

— Мы вас избавим...

Полковник остановился, откинулся корпусом назад и устремил на молодого человека в узких погончиках какого-то губернского секретаря взгляд, полный изумления:

— То есть... что вы думаете сделать? — спросил он голосом уже не хворым и не самым тонким.

— Нам же надо, полковник, устраивать где-нибудь перевязочный пункт.

— И устраивайте!

— Но...

— И устраивайте, голубчик! — более ласково, но твердо повторил полковник, — но меня, старика, уж оставьте в покое, прошу вас. Где мне при моем здоровье... вон какая канцелярия: два делопроизводителя (оба с университетскими значками), пять писарей, двадцать человек команды...

Этакую махину поднять — не бараний хвост...

Берг стал догадываться, что полковник не так хвор и слаб, как прикидывается, и вщемился, по-видимому, очень крепко в чужое место. Он выбрал комнаты получше, менее разоренные, забрал обстановку у учителя, а его с семьей загнал в крошечную каморку без окон, рядом с кухней, — а сейчас отнюдь не намеревался принимать на себя вину в ошибке и последствия, из нее вытекающие. Это было ясно.

— У вас, полковник, двадцать человек команды, — сказал Берг, вставая с зеленого бархатного диванчика, отобранного у учителя, — двадцать?

— Двадцать, двадцать! так точно-с!

— А у меня, — ответил Берг с расстановкой, снизу вверх глядя на полковника, вытянувшего к нему шею, как будто готового клюнуть его гусиным своим носом, — у меня, в группе Б, пятьдесят человек санитаров и команды. Засим... — Берг по-кавалерийски покачался на одной ноге, отставляя другую... — Засим, в той же группе Б имеется девять сестер... двенадцать братьев милосердия... два врача, два фельдшера... Кроме того, здесь же будет жить и наш уполномоченный, — он сейчас, правда, остался в группе А, — но жить будет здесь... Член Государственной Думы... статский советник... тоже прихварывающий не меньше вашего... Не могу же я поместить его в каком-нибудь хлеву...

— Зачем же в хлеву! Голубчик, зачем в хлеву? ну зачем? — простонал полковник, — да я вам укажу помещение... дворец! настоящий дворец, — не то что этот жалкий гроб...

— А именно?

— Вот, — ткнул полковник пальцем в окно, по направлению к фольварку, которого не было видно. Ткнул и застыл в картинной позе полководца, зовущего в атаку.

— Рос-кош-неший дворец, парк, все такое... Одна роскошь!

— Но вы забываете, полковник, что там уже занято дивизионным пунктом...

— Нижний этаж — да. Не спорю. А верх? Чуть не двадцать комнат!

— Но... там хозяйка... Не можем же мы графиню Тржибуховскую выгнать на улицу...

— Зачем? Двадцать комнат, говорю вам! Хозяйка? Тем занятнее. У нее дочка — брюнетка, племянница — блондинка. Две панночки.

И сама еще ничего... в соку баба... Что хочешь, того просишь. Муж и сын, как полагается, офицеры австрийской армии... Следственно, какие же тут могут быть разговоры?..

Маленькие, водянистые глазки полковника глядели в круглое лицо начальника группы Б ясно и покровительственно-весело. Берг покачался на одной ноге и сказал сумрачно:

— Не лучше ли вам туда, полковник?

— Ну-у! где уж... нам уж... выйти замуж!.. Это перед вами все двери открыты, а мы... Интендантство? На нас же лишь собак вешают...

— Но... я не знаю, право, как же тут быть?

— В фольварк — прямо, с места в карьер!

— А если... в штаб?

Полковник фукнул, скривил бурные усы и холодно, твердо, совсем уже не хворым голосом, сказал:

— Хм... как угодно-с...

Как всегда на новом месте, приходилось начинать с войны за уголок. В походной жизни лишь простодушные люди полагаются на бумажку из штаба, — таких людей, правда, больше, чем практиков-служак, вроде дивизионного интенданта, который твердо держал в памяти пословицу: кто проворен да смел, тот семь съел. Группа Б была слишком молода для того. Поэтому ей и пришлось разместиться по халупам, ускользнув от солдатского постоя... Сестер удалось все-таки устроить более сносно, в дивизионном перевязочном пункте, — там они принялись за работу. Было немножко досадно, что, окруженные новыми поклонниками, врачами и прапорщиками, сестрицы уж очень довольны были своим помещением и немножко охладели к товарищеской компании, рассеянной по халупам. Но пришлось мириться.

С интендантом же начали беспощадную борьбу — перепиской через штаб. Десять дней отбивался интендант. В своих отписках он указывал на неимение крова, достаточного для его канцелярии, ссылался на перегруженность работами, на шесть болезней, которые точно и обстоятельно перечислил, начав с ревматизма и кончив воспалением предстательной железы. Пустил в ход такую лирику, какая не часто попадает в официальной переписке.

Группа Б тоже не ударила лицом в грязь в этом полемическом состязании. Мобилизованы были все юридические и литературные силы. Интендантскую лирику опрокидывали лирикой перевязочного пункта, имеющего задачи, не менее важные, чем распределение фуража и продовольствия. Интендантские ссылки на болезни ставили рядом с нуждой во врачевании окровавленных серых героев¹³, ежедневно доставляемых с позиций...

— Какой он к черту больной? притворяется! — говорили дивизионные врачи, державшие в этой полемике сторону группы Б, — посмотрели бы, как он в Николаеве за девками гонял...

— Я сам видал: каждый день подъезжал к погребку на Александровской, ящиками вино выносили ему в автомобиль!..

— А встретится когда — сейчас начнет хромать, охать...

— Лупите его в хвост и в гриву!..

На одиннадцатый день пришла бумага из штаба, предлагавшая интенданту очистить помещение школы.

Группа Б прежде всего восстановила в правах владения учителя школы, Лонгина Поплавского, тихого, кротко улыбавшегося маленького, сивого украинца с испуганными глазами. С ним условились, что в гостиную группа будет собираться в часы обеда и ужина, а семья Поплавского будет пользоваться столом от отряда. Давно голодавшие, придавленные страхом и отчаянной нуждой, Лонгин Поплавский и пани Поплавская расплакались от радости.

Принялись за чистку помещения. Ободранные стены выбелили известкой, полы вымыли, печки починили. Ничего не осталось из мебели — ни столов, ни скамей. И взять негде было. Выручил священник униатской церкви. Недостроенная эта церковь стояла рядом с школой. Когда-то ее окружали леса, теперь от досок остались одни воспоминания: все, что было доступно с земли, растаскали солдаты на свои надобности. Уцелели доски лишь вверху, на такой высоте, откуда достать их без риска сломать шею было мудрено.

— Тысяч на восемь было лесу — все сгибло, — говорил круглый, бритый священник, держа руки на животе, — берите-ж остатки, помогай вам Боже, берите, пока солдаты не сожгли... На доброе-ж дело не так жалко...

Шофер Масленников, столяр по профессии, сумел взобраться на высоты, указанные о. Каллиником, и сбил шесть досок. Вся мужская половина группы Б принялась пилить, строгать, вычерчивать и долбить. Хотелось поубавить спеси криводубцам, блеснуть работой своих рук. Масленников распоряжался, как диктатор. Указывал коротко, немногословно. Приказывал строго, распекал сурово. Студенты — народ строптивый — никогда в жизни, вероятно, не испытывали такого гнета сверху, но никогда авторитет руководителя и не пользовался такой непререкаемостью, как в эту эпоху столярного увлечения.

Первый стол вышел чуть-чуть хромоногим. Пробовали подравнять, подпилить — еще больше захромал. Оставили. Определили для питательного пункта: сойдет. Стол для аптеки был уже просто игрушкой. Но образцом изящной простоты и геометрической правильности вышел операционный стол. Чистота, твердость, устойчивость — лучше быть не может. Для пробы клали на него фельдшера Самородного, в котором считалось около осьми пудов весу, шатали, двигали, — стол и не крякнул...

Не хватило досок на скамьи. Строка, лысый студент с черепом Сократа, полез на потолок, подпилит три решеины под крышей, и скамьи — правда, жидковатые и узкие — украсили обе палаты

и питательный пункт. Уполномоченный, приехавший из Криводубов навестить группу Б, увидев результаты пятидневной неустанной работы импровизированных столяров, долго мотал головой в изумлении.

— Действительно, творческой энергии человека нет пределов, — глубокомысленно сказал он, почесывая живот.

Был он человек медлительный, ленивый, грузный. Говорил мало, но если говорил, то каменными изречениями, порой приводившими в веселое настроение молодую часть отряда. По лености, он мало вмешивался в отрядную жизнь, боялся хозяйственных и денежных вопросов, покорно подписывал бумаги, которые ему подкладывались, и затем уходил бродить по окрестностям, слушать солдатские песни, беседовать с мальчишками и бабами. В отряде относились к нему с благодушной иронией, к которой он был мало чувствителен. Сестры поэнергичнее иногда безапелляционно командовали им, на потеху молодой компании товарищей. Один навеки испуганный Лонгин Поплавский относился к нему так, как привык относиться к начальству, с искренним почтением, — и называл его «пан генерал». Титул этот так и остался за уполномоченным...

— Генерал, слушайте... что я вам хотела сказать?.. да!.. генерал!..

Сестра Дина считала себя неотразимой и была уверена, что имеет некоторые права на уполномоченного.

— Слушайте: приходите вечером в палату... я — дежурная. Придете?

Уполномоченный сговорился уже с докторами повинтить. Он склонен был думать, что дело свое сделал, служебный долг исполнил, побывал на питательном пункте, в столовой, а беспокоить раненых своим посещением считал лишним: на это есть врачи.

— Сестра, я с удовольствием, но... — устремив озабоченный взгляд в записную книжку, начал он. Но Дина решительно перебила:

— Без всяких но!..

Взяла его под руку и, понизив голос, по секрету, предварительно оглянувшись, прибавила:

— Слушайте: если я вас... увижу... еще раз... с Абрамовой в парке, — я вам такой скандал закачу, что...

Она опять оглянулась и, увидев Савихину, которая шла позади и как будто совсем беззаботно смотрела по сторонам, но несомненно иронически улыбалась, прибавила громко:

— Вы же должны... Ваша обязанность...

— Что именно? — убитым голосом спросил генерал, запихивая книжку в карман черкески.

— Навестить раненых... посмотреть, как мы их разместили. На полу, конечно. Солома, на соломе брезент... В общем — ничего... Так я зайду за вами... Слышите?

— Слушаю, — уныло отозвался генерал...

— Слу-ша-ю! — передразнила Дина. — Вот уж тюлень, ей-богу! В кого вы такой? Ступайте в столовую... Не уходите раньше меня...

В гостиной Лонгина Поплавского, обращенной в столовую, было пестро, шумно и жарко. Собирались вечером, обыкновенно задолго до ужина, — тянуло к компании. В скромной учительской квартирке было тесно, но уютно. Играли в шахматы, иногда пели и всегда вели долгие, беспорядочные споры. Пан Поплавский сдержанно, осторожно прислушивался, присматривался. Он не все понимал в торопливых, горячих речах своих новых гостей, и испуг, застывший в его черных, кротких глазах, смущал их очень — первое время. Потом он прошел: пан Поплавский понял, что от этой молодежи обиды ему не будет, — ласковый народ. Некоторые все пытались говорить с ним по-украински, декламировали из Кобзаря и великодушно обещали Галичине всякие права и вольности. Но дороже всего было то, что сочувственно и много раз выслушали его грустную повесть о том, что пенсия и эмеритура его теперь пропали, пропали и скромные сбережения, которые лежали в Венском банке.

Понемногу он совсем осмелел. Достал свою скрипку и порой играл на ней студентам и сестрам какие-то элегические пьески. Играл неважно, но был необыкновенно трогателен: скорбное выражение лежало в эти минуты на его кротком, в мелких морщинках, лице. И не столько в звуках дешевенькой скрипки, сколько в остановившемся взгляде его кротких глаз, устремленных в одну точку, собиралась вся горечь жалобы смиренного, маленького человека и боль его бездельного края, разоренного, горем повитого, слезами омытого...

— Ой и тяжкий испит! — говорил он иногда, вздыхая и качая головой.

Зауряд-врач Петропавловский, поменявшийся с доктором Недоразумение, поссорившись с Надеждой Карповной, уверенно и важно, дьяконским басом, отвечал на это:

— Выдержим, пан!

— Чи видержимо? Усе зруйновано¹⁴, — уныло возражал Поплавский.

И начинал говорить, как тяжело жить, когда каждый вечер приходится гадать: будешь ли жив завтра или нет? Скорей бы конец... Хоть бы чья-нибудь победа, а то нынче придут австрийцы — плохо, завтра — русские, тоже не сладко. Жалованья никто не платит, — чем жить? Пенсия пропала, эмеритура¹⁵ пропала. Были крохи сбережений — лежат в банке в Вене, — как их достанешь оттуда? Отдала ему свое жалованье Текля, — туда же положил, на свое имя, — все там и сядет... Страшно! Боже мой, как страшно...

Его не слушали: много раз уже повторял он эти жалобы. Пан доктор, бритый, молодой, но с седыми волосами, придумывая шахматный ход похитрее, в сотый раз запевал басом:

Соловей, соловей, пта-шеч-ка...

Мотив приелся всем, опостылел, но непременно кто-нибудь подхватывал:

Канареечка жалобно поет...¹⁶

И вслед за этим уже приставали все, даже пани Поплавская, даже семилетняя Зося и черноглазая Текля, от которой немножко пахло коровьим хлебом, — все пели:

Раз!.. два!.. горе не беда!..
Канареечка жалобно поет...

А Лонгин Поплавский, подсев в уголку к смирному Глезерману, переименованному в группе в Стекольников, говорил вполголоса — долго и нудно, — что он все-таки желает «перемоги»¹⁷ России, что он не хочет быть гноем за дряхлый германизм, и верит, что перемога будет — и тут, и там, на фронте и «в борьбе внутришней»... Стекольников, зажмурив глаза и надуваясь, — был он зайка, — говорил:

— В на...национальном вопросе? Об...бя...бязательно!..

Пани Поплавская, маленькая, звонкоголосая, говорила пану генералу о своем разнообразном горе: солдаты искалечили рояль, — она преподавала в школе музыку, — у Ромки не было сапог и шестой стрелковый полк реквизировал соломорезку. Пан генерал обещал выдать Ромке, семнадцатилетнему сыну Поплавских, тонкому и жидкому малому, новые сапоги из запасов отряда. Пани горячо благодарила за все, за все... Она очень довольна, всем довольна: они теперь сыты, каждый день обедают, и так все ласковы с ними, никакой обиды нет... Если бы только еще мир поскорее...

Подошла сестра Дина, перебила быстрюю, звонкую речь пани Поплавской:

— Генерал, вы хотели зайти в палаты?

Генералу не очень хотелось... На узком диванчике с потертой плюшевой обивкой было тепло и дремотно, в ушах пестрым монистом пересыпалась торопливо-звонкая речь пани Поплавской, — звучные, непонятные слова, как бусы, играли яркими, незнакомыми красками, — подымался и падал избитый мотив солдатской песенки: «Соловей, соловей, пташечка», приятно пахло соусом-томат, — ужин еще не кончился.

Зевнул. Лениво поднялся, потянулся, — хрустнуло в локтях.

— Очень вежливо! — с сарказмом бросила сестра Дина.

Седой доктор двинул коня и, подняв голову, с веселой усмешкой поглядел на грузную фигуру генерала, лениво надевавшего черкеску под непреклонным взглядом сестры Дины.

— Да благословит вас Бог, дети мои, а я не виноват, — пробасил доктор.

Сестра Абрамова весело фыркнула в тарелку. Генерал мрачно проговорил, ни к кому определенно не адресуясь:

— А ну вас к черту!..

И вышел, конвоируемый сестрой Диной.

За порогом кухни стояла черная-черная тьма, теплая и влажная. В западной стороне неба глухим треском рассыпались ружейные залпы. Орудия молчали. Поднялась белая ракета, постояла несколько секунд в темноте и нырнула в черную глубину ночи. За парком, у землянок, солдаты одинаковыми голосами, старательно и ровно, пели «Отче наш». Знакомый молитвенный мотив издали звучал мягко, торжественно, спокойно и — монотонный — казался милым и близким здесь, под чужим небом.

— Слушайте, генерал!..

Генерал чувствовал, что сестра Дина совсем висит на его руке. «Не легонькая, однако», — стараясь шагать в ногу, подумал он с досадой.

— Если вы будете гулять с этой сорокалетней бабой... Абрамовой... то знайте...

Дина кокетничала направо и налево. И хотя от нее старательно уклонялись все, кому она ставила сети своего кокетства — всегда, впрочем, добродетельного, — она считала себя неотразимой, хвасталась длинным хвостом поклонников, по очереди устраивала им великолепные сцены ревности, ссорилась с сестрами-соперницами и за свой ужасно воинственный характер считалась «бичом божьим» в группе. Но была существом добрым, любвеобильным и безвредным.

— Куда же сперва — налево? направо? — спросил генерал, когда они подошли к скользким ступенькам главного входа в школу, свернув два раза за углы.

— Сначала налево, тут — легкие... И разные там — то с чесоткой, то инфлуэнца, то просто затошальные... Полежат, отдохнут и — назад...

Дина говорила теперь уже деловито и серьезно, перестала виснуть на руке и стала простой и милой.

В палате легких стоял очень густой запах и плавали облака махорки. Солдаты лежали на полу, на брезенте, прикрывавшем солому. Было жарко, никто не покрывался одеялом. Дневальный Полещук, расположившийся было на рояле, вскочил при входе генерала и стал озабоченно подбрасывать поленца в печку, которая все еще топилась.

Генерал постоял над живым складом пестрых босоногих фигур в белье, не зная, чем выразить свое отношение к ним. Беспомощно оглянулся кругом.

Спросил:

— Ну, как, землячки? удобно вам тут?

Пестрые голоса отвечали с полу:

— Ничего, вашсбродь, покорнейше благодарим. Чего лучше...

— Посля окопов-то — рай земной: тепло, сухо... Горячего борща нахлебались...

— В окопах грязновато, поди?

— По колено грязь... Пуда по два грязи на тебе. Весь мокрый. А на зорьке ветерок потянет, такую дробь отбиваешь зубами — просто пулемет...

— Серый, воевать надоело?

В густом голосе, бросившем вопрос, звучала веселая нотка. «Серый», безусый солдатик с маленькой черной головой, коротко остриженной и круглой, как резиновый мяч, обидчиво ответил:

— Воевать не надоело, страдать надоело.

— Нет, ты еще не страдал, милоч! Серый ты, вот главное дело. Вот мы в Августовских лесах страдали, вот — страда-а-ли: две недели, дорогой, по пояс в воде, ни кусочка хлеба... Вот страдали! А ты еще сер, милоч...

Дина деловито распекла Полещука: во-первых, нельзя, не полагаются спать дневальному, во-вторых — рояль, хотя бы и приведенный в негодность, все-таки — не для того, чтобы на нем валяться. Генерал строго, но маловнушительно поддакнул. Потом прибавил:

— А все-таки воздух тут... густоват...

— Ну... мы привычны, — просто сказала Дина.

В палате тяжелых студент Евстафьев, из духовной академии, по книжке Марго совершенствовался во французском языке. Он на минутку оторвался от книжки, посмотрел на генерала плохо понимающим взглядом и сказал:

— Ле муано — воробей, ля пуль — курица...

Тяжелых было трое. Один, с черной подстриженной бородой, тяжело хрипел, мычал и стонал во сне.

— Головник, — шепотом сказала Дина, — все время спит... едва ли проснется. Они обыкновенно спят... А вот это — мой землячок, пластун. Спит или нет?

Она подошла и нагнулась над неподвижной фигурой под одеялом, с забинтованной головой.

— Ну, как дела, милый?

— А ничего, — отвечала не очень внятно забинтованная голова.

Когда подошел генерал, голова спросила:

— Нет ли папиросочки, вашескобродье?

Генерал достал папирсы, Дина закурила и подала казаку.

— Вот спасибочка, — сказала он. Затянулся, выпустил дымок и прибавил: — Закурить, шоб дома не журились...

— А домой хочешь? — спросила Дина. — В станицу?

Казак поглядел на нее единственным глазом — другой был закрыт бинтом, — помолчал и хмурым голосом проговорил:

— А зачем я туда таким типом поеду?

Он был ранен в челюсть, пуля сидела где-то в шее. Генерал сострадательно покачал головой, спросил: при каких обстоятельствах? Казак ответил просто и, как показалось генералу, весело:

— А не помаю: лежал, как божий бык...

Потом все-таки рассказал, что были в сторожевом охранении и решили не дать спать австрийцам... «Мы не спим, нехай же и они не спят!»... Связали несколько жестянок из-под консервов, подползли к проволочным заграждениям, перекинули через проволоку, отползли и стали вызванивать, дергая за веревку.

— А они: трррр... тррры!.. залпами. А мы себе песни спиваем и звоним... Ой, шо ми тут викусывали!.. Целый роман зробиць можно бы...

Казак засмеялся и закашлялся.

— Ну, ты поменьше разговаривай, — наставительно сказала сестра Дина.

Он покосился на нее глазом, — генералу показалось, что веселые искорки играют в этом молодом взгляде.

— Не люблю я, когда женщины командуют, — сказал он, — столько я воевал, ездил, бился — и буду я подчиняться женщине?..

— Ну, меня обязан слушать! — поправляя одеяло, мягко сказала Дина.

Казак помолчал, думая о чем-то своем. Докурил папиросу.

— Я вам, сестрица, загадку загаду, отгадаете вы, чи нет? Отгадаете — буду слушать вас. Это один прохвессор... то — бишь... клоун в цирке спрашивал: какая разница между домом... и барышней!..

Одинокий глаз светился веселым, лукавым огоньком. Дина поглядела на него, рассмеялась. Поглядела на генерала.

— Что-то мудрено... Дом — неодушевленный предмет, а барышня — надо думать — одушевленный?

— В том и дело, шо нет. А есть разница такая, что дом два раза в год щукатурится, а барышня раз пятнадцать на день...

— Фу-у, Чечот, как вам не стыдно!..

Чечот захрипел от смеха и закашлялся. Евстафьев поднял голову от книги, посмотрел и солидно сказал:

— А он — остряк... ле мокёр...

Головник тяжело простонал: «Ма-ам!» Генерал оглянулся и будто в первый раз увидел целиком всю эту большую комнату с сумеречными углами, без мебели, с тремя искалеченными телами на матрацах, на полу, студентом на грубой, некрашеной лавке и сестрой, склонившейся, с термометром в руке, над солдатиком с детским лицом и воспаленными глазами. Как это все, в простоте и реальности своей, было фантастично, неожиданно, непостижимо...

— Что, милый?

Сестра пощупала лоб раненого. Детские глаза глядели на нее блестящим, воспаленным взглядом. Солдаты дышали часто, со свистом, — был он ранен в живот.

— Что, милый? как?

Он лишь пошевелил сухими губами, ничего не сказал. Дина села на полу около него, подперла щеку кулачком, как подпирают деревенские бабы в минуты грустного раздумья, — и генерал удивился, какое у ней мягкое, привлекательное, хорошее лицо. Было тихо. Стонал и мычал головник, изредка покашливал казак, Евстафьев зудел: «ля пуль — курица, ле кок — петух»... За окнами чернела ночь, беспокойная, странная, как бред.

Дина вынула термометр. Посмотрела, сдержанно вздохнула. Когда пошевелилась, чтобы встать, солдатик чуть слышно, жалобно проговорил:

— Ты... не уходи...

И придержал ее рукой за платье.

— Боюсь я...

— Чего же боишься, милый? — ласково спросила она, погладила его по подбородку, нежно, по-матерински, поправила одеяло.

— Умру я... боюсь.

— Ну вот! с чего ты это взял?

Он глядел на нее блестящим, неморгающим взглядом, словно хотел угадать скрытые ее мысли.

— Вот, Бог даст, скоро домой пойдешь... Хочешь домой?

Воспаленные губы раздвинулись в слабую улыбку, детскую, доверчивую. Генерал отвернулся, чувствуя, что у него зацепило в носу и слезы — непростительная слабость — уже заволокли туманом сумрачные углы комнаты. Совсем, совсем ребенок...

— Ты какой губернии? — помолчав, спросила сестра.

— А ты какой? — совсем по-детски спросил солдатик, не отвечая.

— Я из Кубанской области, казачка. Ну, говори теперь ты.

Он молча глядел на нее блестящими глазами, и улыбка все еще дрожала на запекшихся губах.

— Ну, а звать тебя как? — спросила сестра, проводя рукой по его подбородку.

— А тебя?

— Меня — Диной.

— А меня — Митроха.

— Ну вот, Митроха, домой поедешь!.. Скоро, скоро... Ты не женат?

— Нет.

— А невеста есть?

С усилием снова раздвинулись губы в улыбку, словно какая-то волшебная чудодейственная сила таилась в простой женской ласке, в голосе, в этих пустяковых женских вопросах.

— Девчат небось у вас в селе много?

— Сколько вгодно, — он помолчал и прибавил, с усилием выдавливая слова: — Даже сколько вгодно... пяточок пучок... за семак — десяток...

— Ах, ты этакой!.. — погрозила пальцем сестра. — Ты что же это нас так дешево? Вот приедешь домой, поправишься, высмотришь невесту себе хорошую... Тогда на свадьбу позови. Позовешь?

— А ты приедешь?

— Непременно. Лишь позови.

Он все держался за ее платье и не сводил с нее блестящего, пристального, угадывающего взгляда. Дышал трудно, со свистом. Воспаленные губы едва слышно выговорили:

— Позову.

— Ле муано — воробей, — зудел Евстафьев.

Генерал сказал:

— Я пойду, сестра, до свидания.

Дина осторожно отвела на одеяло руку раненого, встала. Через темный коридорчик с тяжелым запахом вышли на мокрый, скользкий крылец. За порогом висела черная, плотная тьма. И казалось: если ступить еще один шаг, полетишь в бездонную темную яму. Генерал с облегчением потянул в себя свежий воздух.

— Вы простудитесь, — сказал он сестре, — идите-ка, сыро.

Дина вздохнула, спрятала руки под фартук и просто, без обычного своего деспотического кокетства, сказала:

— А знаете — он умрет: сорок и три десятых. Перитонит, по-видимому, начался. Совсем еще мальчик...

— Однако... от света ничего не вижу, — помолчав, ответил генерал. Глаза его были мокры, но ему не хотелось обнаружить чувствительности. Наивная детская, доверчивая улыбка и детский беспомощный взгляд все стояли в глазах.

— Да, мальчик... совсем мальчик...

III

Звиняч

Тихое место было Звиняч. Звонкого только и было тут — разливистое эхо, перекликавшееся по лесистым обрывам над бурливой безымянной речкой.

Село растянулось версты на две — по балке. Улица была одна, переулков много. И все узенькие, хитрые, запутанные, с низенькими плетнями. Злые огромные дворняги, поставив передние лапы на эти старые плетни, неизменно встречали и провожали прохожего залиvistым басистым лаем. Правда, и прохожий тут был несколько бесцеремонен: вместо того, чтобы кружить по кривым переулкам, он, выломавши

добрый кол из прясла, ломал путь через дворы, огороды и садики, напрямик. Белые и голубые хатки-мазанки за войну облупились и глядели как израненные. Над темной соломой их гофрированных крыш чернели рогатые ветви старых груш, а где было хоть чуть-чуть просторнее от хлевов и сараев, братски сплетались ветвями яблони, вишенник и чернослив. На межниках¹⁸ стояли вербы с малиновыми концами тонких прутьев, за ними кое-где торчал, углубившись в созерцание, тонкий журавец.

У шоссе, при въезде в панские владения, возвышалась черепичная крыша костела. Еще не доезжая до села, издали можно было прочитать на крыше — черным по красному выложенные слова — *Iesus-Maria*. Против костела солидно и крепко расположился панский водочный завод с высокой трубой. Фольварк отошел чуть-чуть к сторонке от села, словно сторонясь мужицкой серости, — колонны белели за аллеей лиственниц, а по бокам шоссе стояли вековые ели. За домом шел огромный парк с старыми липами, величественными грабами, соснами, елями, — сад и оранжереи.

По ночам тут звонко ухали филины и совы. Днем звенели — перекликались синички и, передразнивая их, прыгали с ветки на ветку легкие коричневые белочки. Звуки, залетавшие сюда со стороны, — солдатская песня, выстрелы на позициях, гудение аэропланов, сигналы кавалерийской трубы, отдавались широко, разливисто и мягко. И все тут — старые ветвистые великаны, дуплистые яблони, поросшие мохом обломки каменных плит, газоны, площадки, клумбы — носило печать гордой старины, долгой, яркой и богатой жизни в прошлом. От всего веяло тонким вкусом, культурой барства, обдуманым, заботливым уходом. В сумраке темных аллей таились отзвуки минувших увлечений и драм, сложных сплетений, измен, тревог, реяли тени гордых панов и смиренных хлопков. В лунные ночи на песке дорожек лежал светлый и черный узор таинственных иероглифов. Над ними гулко ухал и хохотал злорадный филин... Смутные вздохи носились в старом парке, — оживали воспоминания. Дуплистые липы, надломленные бурями, израненные, тихо, печально стонали: каждый новый день нес им новые раны.

По утрам, на рассвете, в белом влажном тумане, кутавшем парк, звонко чавкал топор. Ребята в серых шинелях рубили молодые стройные елки, и черешни, и дорогие яблони — на крышу для землянок. Был лес недалеко — в полуверсте, лишь перейти озими, — береза, граб, красный бук, — свежий лесок, молодой, подчищенный. Темной лиловатой полосой он тянулся до Вержбовца. Но оттуда таскать через вязкое поле — угреешься. Потому, когда требовалось что-нибудь к спеху, солдаты забегали в парк: есть подходящие деревца и тут, под рукой.

И каждый день владелица имения, графиня Тржибуховская, с дочкой и племянницей, ее управляющий, костистый старик с лошадиным

лицом, тощий садовник Игнатий Притула, — взволнованно говорили о «шкоде» каждому встречному пану с офицерскими погонами. Попадался врач дивизионного пункта — жаловались ему. Встречался толстый, флегматичный уполномоченный перевязочного отряда — взволнованно, негодующими голосами, рассказывали и показывали ему следы свежих порубок. Паны офицеры любезно выслушивали, но в быстром, взволнованном потоке жалоб улавливали и понимали одно лишь слово: шкода... шкода, шкода, шкода... За это бойкая панночка Тржибуховская, хорошенькая брюнетка, стала известна в Звиняче под именем Шкоды...

Прапорщик Десницкий, ражий детина с твердым оливковым подбородком и бычьими глазами, откликнулся прежде всех и решительнее всех на ее жалобы.

— ПопадетсЯ какая каналья — взбубеню! — сказал он черноглазой Шкоде рычащим басом. — Честное слово, пани, взбубеню! будьте спокойны... пароль донёр¹⁹. Все, что касается вас, пани, с этого момента касается и меня... А я шутить не люблю!

Поняла или нет чернобровая Шкода, что значит «взбубеню», — но поглядела на прапорщика благодарным взглядом. На обоих перевязочных пунктах в тот же день стало известно и о клятве прапорщика Десницкого, и о признательном, подающем надежды, взгляде Шкоды. Конечно, не прошло это без язвительных острот, веселых шпилек, сплетен и товарищески-ругательной зависти...

— Вася, если в ночное пойдешь, возьми у меня тулуп и валенки, — говорил доброжелательным тоном доктор Химец.

— Треух надень, не забудь, — прибавлял прапорщик Алехин.

— Ведь какой пройдоха, черт его возьми! — подмигивал Берг, еще не нашедший случая познакомиться с Шкодой. — Сразу обеспечил успех!

Усатый Андреев, заведующий хозяйством, пренебрежительно хмыкал:

— А что там особенного! Мешок костей... Мясом-то не очень разживешься... По-моему, женщина должна быть, что называется, о'натюрель... чтобы у ней и тут было... и тут... Не какой-нибудь сухарь... А это, если одни дрова...

— Животное! — рычал Десницкий, — ничего святого!..

Он был весь, до краев, налит гордым сознанием успеха, едва мог подавить в себе ликующую игру самодовольного упоения, неудержимые приступы беспричинного радостного смеха, выпиравшего наружу. Язвительная болтовня, кружившаяся около черноглазой Шкоды, нужна была ему, как триумфатору товарищеская хула старых сподвижников. Но он рычал свирепым басом, вращал глазами и негодовал...

Солдатский топор все-таки не переставал таять в предрассветном тумане утренних часов. На рассвете Игнатий Притула считал новые

свежие пни, позже приходила графиня с дочерью и племянницей, потом они уходили, потом возвращалась одна Шкода в сопровождении прапорщика Десницкого. Прапорщик хмуро выслушивал показание Игната Притулы, многозначительно кивал головой, изредка рычал басом:

— Добже... добже...²⁰

Игнатий Притула вздыхал и умоляющим голосом говорил:

— Хоть бы мир скорей... А то страшно... ой, Боже мой, страшно...

— Идемте, пани... расследовать...

И уже вдвоем — прапорщик и Шкода — ходили по парку, по шоссе, если было не очень грязно, за селом. Прапорщик настойчиво повторял единственную фразу на польском языке, которую дружески сообщил ему доктор Химец.

— Пани, цо значе «кóхамъ»?²¹

Пани Шкода грустно улыбалась...

И, день за днем, проходили так недели — однотонно, похоже одна на другую, серо, без событий. Без событий было и в группе Б, на перевязочном и на питательном пункте. Погромыхивала обычная перестрелка на позициях, изредка подвозили двух-трех раненых. Чаще они сами приходили — все в густой татуировке грязью, мокрые, перезябшие.

— Что, землячок, ранен? — встречала обычным вопросом дежурная сестра.

— Так точно, сестрица, ранен.

— Ну, разуйся там и входи.

Солдатик разувался в коридоре, а в палате у порога снимал шинель и прочие покровы. Привычным порядком его, голого и дрожащего, студент и сестра очищали бензином или спиртом от грязи и паразитов, одевали в сухое, перевязывали, подкармливали, отогревали. И потом направляли дальше, в установленном порядке следования.

За всем тем оставалось много свободного времени, которое надо было чем-нибудь убить. Ели сытно, помногу, спали долго, много говорили, спорили и ссорились. Перечитывали старые номера газет, изучали языки, играли в шахматы, в карты. В шахматы играли в столовой, у Лонгина Поплавского. В карты — по ночам, в халупах. Иногда в халупу садовника Игнатия Притулы, где в одной комнате помещался генерал с доктором Картером, а в другой денщики и часть команды, являлись в полночь Берг и Петропавловский, будили генерала и доктора и садились играть. Играли до того часу, когда денщик Сибай Керимов, проснувшись, приносил генералу вычищенные сапоги, и с смущением видел его в одном белье с картами в руках, и доктора Николая Петровича — тоже в одной рубашке, а с ними за столом его высокоблагородие Володю и его высокоблагородие доктора Милитона Тимофеича, сердито кричавшего на генерала:

— Не умеете играть и — не садитесь! Самое лучшее!..

Зимы не было. Стояла слякоть. Сеял мелкий дождь, гулял ветер, мокрый и зябкий. На шоссе стояла шоколадная жижа в полколена. Солдаты в мокрых шинелях и башлыках были похожи на убогих богомолок после дождя. И, глядя на них, становилось зябко на сердце: в окопах они сидели и лежали в холодной грязи, — никакая подстилка не спасала, — грязь забиралась всюду, въедалась в тело, въедалась в душу, становилась неодолимой мистической силой, беспредельной, нескончаемой — изо дня в день, из недели в неделю...

Было редким праздником, когда легкий морозец подсушивал дороги и черные картофельные поля, прояснялось небо, играло солнце. В такие дни солдатские песни звучали весело и лихо, площадь у костела пестрела девичьими платками, широко и гулко раскатывались орудийные выстрелы, и в голубой высоте, над лиловыми лесочками, над черною пашней и зелеными озимями, кружили аэропланы — наши и неприятельские, — и радостно волновало их далекое, глухое, могучее жужжание...

В ясные лунные ночи, с морозцем, оживал старый парк, — сюда шли сестры, студенты-санитары, интендантские чиновники и все любители красоты — помечтать, побродить по аллеям, разделить с кем-нибудь жалобы на скуку и бессмысленность жизни. Шуршали листья под ногой, мягко похрустывала подмерзшая трава, белая под луной, лежал четкий узор света и теней на дорожках, сквозь черные ветви старых великанов заглядывали редкие звезды и край неровно обрезанного месяца. Таилась незнакомая, немножко жуткая красота в темном молчании старого парка, полного воспоминаний, призраков и теней прошлого.

И смутно вспоминалось свое, интимное, давнее, — красивое и невозвратно как будто утерянное. Хотелось всем рассказать что-то значительное, важное, сокровенное, излить накопившуюся муть недоумений перед жизнью, тоску темных гаданий, беспокойные смутные думы...

Но то, что говорилось, было пустое, мелкое, буднично-серое: мелко и нудно жаловались на жизнь, скучно сплетничали, перебирали свои дрязги, вздыхали, грозились кому-то — бросить все и уехать. За долгие месяцы и годы тесной совместной жизни все примелькались и наскучили друг другу, надоели и опостытели. Перевлюбились, перессорились. Изведали тернии дружбы, упивались враждой, тихой, затаенной ненавистью. И ничего, ничего не осталось неизведанного, нового, увлекающего, восторженного. Ничего даже просто занимательного, интересного, никакого возвышающего обмана... Опростились красивые позы, потускнели возвышенные чувства, стерлись и опошлись слова. И было какое-то непостижимое, странное несоответствие между величавым трагизмом совершающегося и жалкой муравьиной мелкотой участников...

В прелестной аллейке из подстриженных елочек встретили Осинину и сестру Нату. Берг вдруг вспомнил, что ему необходимо сказать что-то сестре Осининой. Сестра Ната взяла за рукав генерала.

— Вы мне нужны, м-сье женераль, — сказала она обворожительным тоном, — не бойтесь, не бойтесь, сестры Дины здесь нет, и вы — в безопасности... Н-но... опасны!.. — засмеявшись и чуть-чуть похилившись на него, пропела она. — Пойдемте, я покажу вам один прэ-лест-ный уголок...

Маленькая кокетливая Ната с лисьей, смышленной мордочкой рыбинской мещаночки, умела произносить «компрэсс», «лимон» совсем на французский манер, когда хотела быть обворожительной. Умела решительно и быстро покорять сердца. Одоление начальствующих лиц предпочитала победам над рядовыми поклонниками из зеленой молодежи.

— Вы знаете? — этим липам пятьсот лет!..

Они остановились около плетеных скамеек между двумя старыми, дуплистыми липами с огромными шишками наплывов и наростов. Уголок был, правда, не лишен прелести: заросли вишенника, молодые тополя, семья елочек, уцелевших от солдатского топора, — глушь и тишина...

— Пятьсот лет! — повторила Ната. — Вы чувствуете это?

Генерал поскреб бороду, поглядел вверх, на черные арабески переплетенных ветвей, кашлянул и сказал:

— М-да!.. А откуда это известно?

— Садовник говорил. Сядем... Сколько они видели?.. Садитесь же!.. У-у, и что вы вечно такой... не выпавшийся?..

Генерал посмотрел в улыбающееся личико с мелкими чертами, бледное в лунном свете, хорошенькое, дразнящее. Сел и сказал:

— Я как будто не сплю...

— Не сплю! — передразнила Ната басом. — Ну говорите же что-нибудь! Только, пожалуйста, что-нибудь хорошее... ну, такое... не пресное... Осточертело все тут! Живем вот мы все в одной комнате — девять дев, — шипим, жалим одна другую, ненавидим друг друга до чертиков... Ну, хоть бы что-нибудь не шаблонное... Такое, чтобы встряхнуться... Ну, пусть грех... Согрешила, покаялась... Эка важность! Я на своем веку погрешила... за свои двадцать девять лет... Увы, да! двадцать девять... Какого же идола вы молчите?

— Да я слушаю, — ответил генерал, вбирая подбородок в воротник черкески.

— Слу-ша-ю! — передразнила Ната и нахлобучила ему шапку на глаза. — Ну, ну! не очень хвататься! Это что за огни?

— Где?

— Где! разуйте, пожалуйста, ваши глаза: во-он! во-он!..

Она опять быстрым, ловким движением сдвинула его шапку — теперь набок — и, стиснув маленькими руками его голову, повернула ее вправо, где за живой изгородью трепетали желтые отсветы огня, заметные даже и в лунном свете.

— Я уверена: это — прожектор. Но не австрийский, а наш. У австрийцев белый свет.

Генерал встал, посмотрел внимательно и сказал:

— Это огоньки у землянок... Резервная рота шестого полка...

— Да... в самом деле... Ну, ошиблась. Побейте меня... Да сядьте же вы... торчит... Статуй, как говорят землячки...

Она потянула его за рукав. Генерал сделал вид, что покачнулся, не удержался, — и, как деревенские парни обнимают девчат, обнял Нату и поцеловал. Она не очень сопротивлялась. Но, освободившись, сердито сказала:

— Это что еще за новости?

— Pardon... я нечаянно...

Он сделал вид, что испугался и смущен. Сел и отвернулся в сторону.

— Вот еще! Нечаянно... Я за это «нечаянно»... Сядьте как следует!

Он сел, как указывала Ната, и поднял голову. Сквозь узорный переплет ветвей виден был серебряный Юпитер. На позициях глухо потрескивали ружейные залпы.

Гремели колеса по шоссе, одинокий голос пел долгую песню, с паузами и перерывами, чтобы прикрикнуть на лошадей. В селе лаяли собаки. Вспоминалось свое, домашнее, давно пережитое, милое... Легкая, беззаботная радость закипала в сердце.

— Звезды... — сказал он, — нет, тут хорошо...

— Еще бы! — сердито отозвалась Ната.

— Такие почтенные липы... Откуда это садовник знает, что им ровно пятьсот лет, ни больше ни меньше?

— У него был дед, умер восьмидесяти лет с чем-то... Он говорил.

— А дед откуда знает?

— Да ведь был старый, говорят же вам!

— От восьмидесяти, даже от ста лет до полтысячи далеко...

— Убирайтесь вы!

Он взял ее руками за воротничок шубки и привлек к себе. Смеясь, она шептала:

— Дина! ей-Богу, Дина идет... честное слово! Опять нечаянно?..

Кто-то в сторонке, на газоне, почтительно кашлянул. Генерал и Ната быстро отодвинулись друг от друга. Солдат с мешком на спине прошел мимо, мерзлая трава мягко хрустела под его шагами, пролез через вишеник и за живой изгородью спрыгнул в канаву.

— Картошки накрал, каналья, — сказал генерал, — тут в ямах засыпана по соседству.

— Ну, на этот раз довольно, — сказала Ната, вставая, — теперь и так сестрицы уже учли всякие возможности... Пошли!..

Дома, то есть в халупе Игнатия Притулы, загнанного с женой и дочерью в тесную каморочку, генерал долго сидел у стола в одиноком

раздумье. Тихо шипел керосин в лампе, за стеной вздыхал Притула, в помещении команды, через чулан, затяжным кашлем заливался бедняга Кушнир, — доктор Картер сказал, что он безнадежен. Со стен глядели лубочные лики Богоматери и св. Иосифа, портрет Костюшки, какая-то грамота с отпущением грехов. Скучно было. Бродило в душе привычное смутное недоумение перед жизнью, такой простой и такой непостижимой...

Вошел Керимов, высокий, худой, с бородой, похожей на морковку, преображенец, и, молча нагнувшись к ногам генерала, начал стаскивать с него сапоги. Генерал хотел было сказать Керимову, что спать как будто рано еще. Но не стал сопротивляться. Оставшись в одних чулках, спросил:

— Керимов, у тебя дети есть?

— Шесть штук, ваше п-ство, — уныло ответил Керимов и уныло усмехнулся.

— Девка тринадцать годов — старшая... все девки, одни девки.

— Мм... Ну... пошли мне Кушнира.

Пришел Кушнир, сутуловатый еврей, с девичьим лицом и грустными глазами. Остановился в дверях. Генерал посмотрел на него и жалостливо сказал:

— Кушнир, может, съездил бы в отпуск? ты какой губернии?

— Минской, ваше п-ство.

— Ну вот... может, желаешь?

Кушнир тихонько кашлянул и сказал виновато:

— У меня близких родных нет, ваше п-ство, не к кому ехать. Тут мне веселей, — помолчав, прибавил он. — Если бы молочко, я бы тут скоро поправился. Молока нигде не достать.

Помолчали оба. За стеной поворочался и вздохнул Притула, как бы подвергая сомнению возможность веселья тут, в разоренном и оголенном Звиняче. Смирная, грустно-покорная фигура Кушнира говорила: просто и ясно — моя могила здесь, зачем же беспокоить людей? Генерал утвердительно качнул головой:

— Ну, иди... тебе видней.

IV

Праздники

Как в деревне, зима на позициях и вблизи позиций, время сравнительно досужное, тянулась долго, сонно, монотонно и скучно. Томила однообразием до старческого отупения, до беспричинных, иступленных слез, до стихотворного буйства. И как в деревне, чтобы скрасить однообразную жизнь по норам и закутам, ездили в гости друг к другу, придирались к праздникам, устраивали вечеринки, устанавливали — несколько произвольно — именины. Рождался состязательный

задор — кто лучше угостит? у кого веселей будет? — и помаленьку время, упорный враг, с пользой и занимательно ухлопывалось на разработку замысловатых увеселительных планов и душеполезную изобретательность.

Криводубцы праздновали Татьянин день. От группы Б ездили четыре сестры, Берг, доктор Картер и все свободные от дежурства студенты. От штаба корпуса были: комендант, корпусный инженер с Костей, своим помощником, и адъютант Мурьяри. Праздник удался. Хотя в халупе было тесно, душно, жарко, хотя не хватило приборов и стаканов, но угощение было хоть куда, было много речей — не очень складных, но пылких, бодрых, благородных, рисовавших в будущем необъятные перспективы. Были и скептические речи, — не без того. Но они не помешали Макарке, по билету — студенту-медику третьего курса Макарову, отделать удалого трепака под гармонию, не помешали песенному усердию, буйному хохоту и веселым дурачествам.

Группа Б назначила свой «праздник просвещения» на 8 февраля.

Готовились серьезно — как к большому бою. Ибо криводубцы втихомолку немножко хвастались своим праздником, — звиняцким это было известно. Хорошо было бы слегка поубавить им спеси. Доктор с дивизионного пункта — Химец — привез из Киева красного вина, — выпросили. Красное вино должно было ушибить криводубцев, — у них вина не было, тосты произносились с чашками шоколада в руках. Оно и это вино было изрядным дрянцом, кислятиной, но сестра Дина бралась сварить из него глинтвейн с какой-то особой приправой, ей одной известной. Положились на эту приправу.

Несколько заседаний ушло на обсуждение важнейших вопросов — о закуской части, сервировке и мебели. Белокурая толстуха Шура, хозяйка, два раза смоталась на желтой карафашке в город — за покупками. Возникло некоторое колебание, удобно ли использовать перевязочную для праздничного собрания, — ни одного помещения подходящего не находилось. Врачи не встречали препятствия. Картер, всегда глубокомысленно взвешивающий слова, высказался решительно и твердо:

— В сущности, сейчас у нас функционирует только временное женское отделение. Как известно, за отсутствием в последние недели раненых, мы поместили в левой палате эту старуху — с пневмонией... Больная сейчас почти поправилась, помещение изолировано, — потому возражать против того, чтобы поужинать в перевязочной, нет достаточных оснований...

Зауряд-врач Мелитон Петропавловский кашлянул басом и готовно прибавил:

— Значит, в добрый час. Тем более что Макарка сулился привезть какой-то сливянки...

— Конечно, должен я прибавить, — Картер серьезно нахмурил лоб и пощипал жидкие свои усики, — если за это время не произойдет каких-либо изменений!..

Изменений не произошло. Только накануне, — седьмого, с вечера — начал порошить снежок — редкий, тихий, робкий. Белый пух безмолвно и тихо кружился, прежде чем упасть на черную, холодную грязь. Нехотя падал, таял. И все черна лежала земля под белым небом. Но, рать за ратью, беззвучно и немо летели мертвые белые мотыльки, и стали белеть колеи дороги, старые следы копыт и солдатских ног. Поздними сумерками зарябело поле за селом, побелели крыши и дворы, лишь парк резко и хмуро чернел в мутной сетке тихой метели. А когда наутро проснулся Звиняч, все было бело: земля и небо, крыши халуп, старый парк, плац перед школой, улица и поле за костелом.

Снег все шел — тихо, медленно, беззвучно.

Радостно-неожиданный, этот белый разлив, прикрывший растоптанную, черную грудь земли, перенес взволнованную память в родное. Именно так, как дома, в родных сугробах, шли люди, увязая в мягкой пороше, нагнувшись вперед, протаптывая кривые тропки. Весело перекликались, покрикивали. Стоя на растопыренных ногах, посвистывая и ухаая на лошадей, промчался на дровнях солдат к лесу. И, как в родной деревне, полдюжины шавок, барбосов, жучек, ныряя в снегу, проводили его приветственным лаем. Дрались снежками хлопцы в женских кофтах и огромных сапогах. Вился бирюзовый дымок над хатками.

В халупе Игнатия Притулы было полутемно, — свет скупо проникал в небольшие квадратные окошки. Но было тепло, вкусно пахло борщом из маленькой каморки, в которой помещался сам Притула с женой и дочерью. Доктор Картер сидел у стола, заваленного коробками от папирос и старыми газетами, и нудно, однообразно жужжал, схватив голову руками, шипел, хрипел и давился: наламывал язык на английский манер. Генерал, лежа на кровати, озабоченно перелистывал записную книжку. Толстый доктор Недоразумение, накануне приехавший в гости, без сапог — в носках — стоял, выпятив круглый живот, обтянутый кожаной курткой, курил папиросу за папиросой и уныло глядел на зыбкую белую сеть, дрожавшую за окном.

Вошел Керимов, с бурковыми сапогами в руках.

— Ну и погодка! — надевая сапоги, сказал Недоразумение. Сделал небольшую паузу, поразмыслил и прибавил четко, размеренно, сочно очень крепкое выражение.

Керимов фыркнул в руку, поспешно взял со стола лампу и вышел, давась смехом. Картер оглянулся на толстого доктора и с почтительным изумлением произнес: «Ну-ну-ну!»

— Это я из Пушкина, — сказал Недоразумение.

— Ну уж, не клеветайте на Пушкина! — сердито возразил генерал.

— Вы не знаете? Известные стихи: «Вот ворона на крышу уселась и давай во все горло орать...»

— Пропал наш праздник, — сказал Картер, глядя в окно, — не приедут криводубцы...

— Не приедут! — уверенно подтвердил Недоразумение. — Знай я такую штуку, сидел бы дома... В баньку бы сходил... Понес же черт! Взбрело в башку: отвезу, мол, лимонной им, у них своих химиков нет. Вот и отвез: теперь назад через неделю не выберешься... Вон она! вон — как из пропасти!

Недоразумение качнул головой на белую сеть за окном.

Все шел и шел снег, толстым, рыхлым войлоком укутывал землю. Подымался ветер. И небо не пухом сыпало тогда, а крупными белыми отрубями. Ветер подхватывал, крутил их, гнал белую пыль по улице. Наметал сугробы вокруг оголенных халуп, — огорожа была давно растаскана на дрова. От сугробов через улицу потянулись длинные гребни, пересекли дорогу и тропинки, выросли в кудрявые холмы. На вершинах их, согнувшись, съезжившись, вырастали изредка темные фигуры в шинелях, в башлыках. Топтались с минутку на рыхлом барьере и снова ныряли в белую муть, унося в снежную безбрежность свою усталую, хмурую заботу...

С утра до обеда сыграли две пульки в преферанс. Пообедали в час. После обеда рассказывали еврейские анекдоты и задавали друг другу армянские загадки. Потом спали. В сумерки Керимов доложил, что сестра Шура, хозяйка, прислала спросить, на сколько персон накрывать стол и где взять стульев. Генерал, соображая, вскинул глаза на низкий, прогнувшийся в середине, потолок халупы, а Недоразумение сердито сказал:

— Полопаем и так!

С тем Керимов и ушел, — генерал ничего не придумал.

Картер, вобрав голову в плечи, мелкими шажками кружился по комнате и наламывал язык. Недоразумение поглядел с сожалением на его тонкие, согнутые в коленях ноги в узких штанах, на фурункулезную шею и, вздохнув, сказал:

— Мистер! и вы, ваше п-ство! давайте хоть из этого закута вылезем на свет Божий!

— Но куда? — уныло спросил генерал.

— К Бергу, скажем. Навестим болящего.

Картер, человек пунктуальный, поднес палец ко лбу, прикинул, взвесил и сообразил. Потом сказал:

— Хорошо. Идем. Предлагаю через парк: я забегу в дивизионный пункт насчет стульев.

Генерал на это мрачно махнул рукой: не к чему, мол. Но стал одеваться.

За низенькой дверью чулана, в котором пахло елками и курятником, все трое сразу ухнули и нагнулись: ветер сыпнул им в лицо горстями

белых отрубей. Не было никаких признаков тропинки. Поджарый Картер подобрал шинель до пояса и пошел впереди. За ним генерал, — ноги увязали в рыхлом снегу выше колен. За генералом — Недоразумение в черном своем полушубке, который после дождя сел и не на все крючки застегивался. Генерал слышал, как тяжело сопел Недоразумение. Он и сам задыхался, стараясь не отстать от молодого, суетливого Картера. Нагнувшись, они усиленно сучили ногами, старались попасть в готовые следы, но подвигались неспоро, толклись на месте. Что-то говорил в свой башлык Картер, чего генерал никак не мог разобрать. Сзади кричал, уткнувшись вниз, Недоразумение. Звуки долетали до генерала смутным, приглушенным лаем. Качалась мутно-белая снежная завеса и прятала мир в белое колеблющееся рядом.

— Февраль по-ихнему называется Лютой — и недаром! — прокричал Недоразумение, когда остановились передохнуть.

Картер, до которого донесся лишь смутный, сердитый лай, прокричал в ответ:

— Да, удовольствие ниже среднего!..

В парке пошли легче — не было сугробов, снег лежал ровно. Старые черные великаны стояли безмолвно, как зачарованные, — чуть слышный шел говор ветра в высоте, внизу легла безбрежная тишина и торжественный покой, молитвенное безмолвие опустевшего храма.

У дивизионного пункта постояли, подождали, пока Картер закончил переговоры о стульях. Где-то впереди, к костелу, внезапно выросли смутные звуки, похожие на отдаленный говор бубенчиков. В них было что-то невероятное и радостное: неужели русская тройка — здесь, в этой дыре?.. Звуки как внезапно выросли, так и утонули вдруг в белой мгле.

Вышел Картер. К Бергу было недалеко — лишь завернуть направо, за каменный домик ксендза, и пройти огород, — Берг занимал помещение бывшей звинячской почтовой конторы. За углом опять донеслись звуки бубенчиков, — прозвенели и смолкли.

— У меня страшная иллюзия слуха, — сказал доктор Недоразумение, — вы не слышите колокольчик, дар Валдая?

Но Картер, шедший впереди, вдруг закричал дико и радостно:

— Какая иллюзия — криводубцы! — и прыжками побежал вперед.

Перед калиткой, у почтового домика, стояло двое саней-розвальней. Около них суетились денщик Попадейкин и фуражир Газенко, радостно визжала Шура — в ситцевой кофточке, с непокрытой головой, выбежавшая по-летнему. Слышался знакомый бас студента Джама. Погромыхивали бубенцами лошади. Закутанный, завязанный Макарка, маленький, чуть видный в сугробе, сиплым голосом давал распоряжения конюхам.

Картер подбежал к саням, нагнулся к темным фигурам, по-деревенски закутанным в мужские полушубки, в валенках и толстых

платках, встретил милый, веселый блеск знакомых глаз и диким ревом выразил свою радость.

— Ах, мои милые!.. милые!.. милые мои!..

В беспомощной неуклюжести закутанных женщин было подлинно что-то неуловимо милое, кокетливое, чуть-чуть смешное, и радостно замирало сердце оттого, что были они так близки, новы в белой мути зимней ночи и такие знакомо родненькие.

— Это кто? Надя? Как трогательно... ах, славные мои сестрички! Кити! И Катя? две Кати! Вот умницы! вот славненькие! приехали?..

— Довольны? Ну, тащите! Здравствуйте, генерал! Помогите вылезть...

И генерал, и Недоразумение, зараженные общим радостным возбуждением старательно топтались вокруг саней, кричали, умилялись, помогали закутанным сестрам, бессильно пытавшимся подняться, мешали. Макарка торжественно вынул из соломы бутыль:

— Вот она! — сказал он с гордостью...

... В перевязочную доступ посторонним был закрыт. Посторонними были все, не имевшие касательства к сервировке и прочим приготовлениям съестного и распивочного порядка. Макарка, доставивший бутыль сливянки, уже не был посторонним. Он вошел в привычную ему роль хозяйственного распорядителя, сиплый командующий голос его чаще других слышался за дверью, вперемежку с приятным звоном стаканов и громом передвигаемой мебели, и возбуждал радостное волнение. С дивизионного пункта принесли стулья гр. Тржибуховской — с высокими спинками. Олейников и Глезерман внесли из столовой знакомый диван с потертым плюшем, потом вынесли назад, потом опять внесли. Повар Новиков, закончив художественную отделку тортов, разрезал кулебяку.

Гости и хозяйева толклись в правой палате. Чувствовалась торжественная приподнятость — оттого, что были закрыты двери в перевязочную, оттого, что нельзя было пикироваться с криводубцами, а надо было занимать их, как гостей, — оттого, что Лонгин Поплавский надел крахмальную манишку, а его семилетняя дочка, черноглазая козочка Зося, в новом платье и с новой лентой в косичке, необычно притихла и жалась к отцу, — оттого, что все чувствовали волчий голод, потому что пообедали рано, в час дня, и всем приказано было беречь аппетит к вечеру.

Семинарист Костяев, санитар из транспорта, маленький, круглолицый, курносый, известный под именем «Иванова Павла», тоскующим голосом говорил Глезерману:

— Я бы теперь съел... чего бы я съел?.. котлет пять свиных, вот таких, съел бы!..

Глезерман, заика, широко открывая рот, шлепая губами, отвечал:

— По... по-давишься!

— Хозяюшка! — слышался нетерпеливый, зудящий бас седовласого Петропавловского.

— Подождите, подождите! не умрете! — отмахивалась Шура, с озабоченным лицом проносясь через палату в перевязочную.

Когда дверь наконец открылась, всем сразу стало ясно, что звинячский замысел затмить криводубцев удался: убранство помещения, закусочное обилие, сервировка — все превзошло самые широкие ожидания. Правда, и криводубцы — Макарка, Недоразумение — бескорыстно содействовали одолению, но торжество этим не умалялось. Звинячцы не стали, конечно, колоть им глаза соперников, — все были голодны, спешили разместиться. Гармоническая, обдуманная сервировка сразу была приведена в хаотический вид. Лимонная настойка доктора Недоразумение и привезенная Макаркою сливянка привлекла самое теплое внимание.

— Ну-ка, Стекольников, пошлите нам эту... темненькую, — басил Петропавловский.

— У вас же там есть!

— Давай, давай! В том конце, все равно, непьющие...

Стало шумно, весело, жарко. Новая спиртовая лампа лила с потолка белый свет, как ослепительная люстра. Совсем забылось, что за стенами вьюга, сугробы, засыпанные окопы и в них согнувшиеся темные фигурки в шинелях и башлыках. Сестра Осинина, у которой на лице всегда была подчеркнутая озабоченность о страждущих и сдержанное негодование на беззаботных товарищей, которые иногда съедали по две порции, забывая о голодных — в мире всегда был кто-нибудь голодный, — иногда пели песни, иногда резались в карты, — даже она снизошла с высоты своей добродетельной строгости. Ей досталось сесть рядом со скромным Глезерманом (он же — Стекольников). Женоненавистник Глезерман был очень стеснен, но торопливой услужливостью старался прикрыть свое малое удовольствие от этого случайного соседства.

— Кулебяки, пожалуйста, сестра...

— Я же не ем мяса... Нет ли чего-нибудь растительного?

— Ах, да... я забыл, виноват...

Глезерман почувствовал иронию в тоне Осининой и поскреб смущенно голову.

— Иванов Павел, дай-ка вон ту... это болгарский п-пе... перец?

Костяев, выпивший из чайного стакана сливянки, разомлевший и блаженно упивавшийся кулебякой, набитым ртом промычал:

— Авек мон плезир!²²

Стремительно схватил тарелку, на которой стояла коробка с кильками, — он не желал уступать в галантности Глезерману, — и через его голову протянул тарелку Осининой. Коробка поехала по тарелке, но «Иванов Павел» быстро и вовремя предупредил катастрофу, лишь умеренно плеснув за шею Глезерману ржавым соком.

— Что ты, черт! — зашипел Глезерман.

— Это, что называется, с ловкостью молодого медведя, — снисходительно улыбнулась Осинина.

— Пар-дон! — внушительно проговорил Костяев, он же Иванов Павел, и гордо опустил на стул.

Глезерман старательно вытер шею и за шеей носовым платком и пробормотал, как бы извиняясь за своего соседа:

— Да уж, и посади вот такого за стол... ка-как говорится...

Иванов Павел искоса взглянул в его угнетенное лицо и фыркнул, — смех неудержимым фонтаном ринулся из него. Очень уж было весело все — и Глезерман, и Макарка против него, такой маленький и важный в капитанских погонах. Макарка строго поглядел на Иванова Павла, встал и сиплым голосом сказал:

— Господа! то-есть... товарищи!

— Сядь ты, Шкалик! — дружески, сострадательным голосом пробасил доктор Петропавловский. — Не дал поесть толком и — уже спич!

— Я — коротко. Товарищи!..

— Постарше тебя есть!

— Товарищи! — настойчиво повторил неугомонный Макарка, оглядываясь направо и налево. — Я должен передать вам приветствие от первой группы...

— От како-ой? — сердито перебил Строка, похожий на Сократа.

— От первой...

— А наша, по-твоему, — вторая? Нет ни первой, ни второй группы — есть группа А и группа Б, — заруби на носу себе!..

— Ладно... Приветствие от славной криводубской группы... Праздник просвещения, товарищи, который...

— Ура-а-а! — крикнули буйные голоса в конце стола, где уже кончали сливянку.

— Дайте же кончить, господа...

— Лучше не скажешь!

— Это — обструкция?

— Са-дись! Пять с плюсом! Маловато сливянки привез!

Самовольное выступление Макарки произвело веселый беспорядок, — праздник просвещения сразу потерял торжественность тона. Это было огорчительно. Сестра Осинина качала головой: она не надеялась, что будет вполне серьезно, — свою публику, слава Богу, знает, — но и не ждала такого непростительного легкомыслия. С безмолвным, но выразительным упреком поглядывала через стол на генерала, — он должен бы был направить легкомысленный гам, шум, смех в более содержательное русло. Но генерал подвыпил и совсем рассолодел. Как идиот, как самый бесстыдный чревоугодник, он умилялся перед крошечными биточками, приготовленными по особому рецепту толстушки Шуры. Говорил ужасно дубовые комплименты самой Шуре,

восхищался ее слишком прозрачной кофточкой и покушался даже узнать на ощупь, что за материя... Перемигивался с Валею и Натой, чем вызывал негодование сестры Дины. Дина сидела рядом с ним на плюшевом диванчике (использованном за недостатком стульев) плечо к плечу, более тесно, чем допускало приличие, — и оглядывалась кругом ястребом, у которого в когтях жирная добыча, а над ней кружатся и каркают вороны.

Генерал, глядя на Абрамову и Нату умильными глазами, чуть видными в блаженных морщинках, расслабленным голосом говорил:

— Милые вы мои! Смотрю я на вас — какие вы все славные, ей-богу! Соня... Валя... Ната... Ну, одна прелесть, ей-богу! И все вообще... «вобщем»... Такие, знаете... чудесные! На старости лет, когда я буду жить воспоминаниями...

— Вы вовсе не стары, мсье женераль! — перебила кокетливая Ната.

— Для генерала совсем молод! — прибавила смешливая Абрамова, искоса поглядывая на Дину.

— Да нет, я и не говорю, что я — старик, — генерал заботливо пробежал пальцами по бороде, нет ли крошек, потому что сестра Осинина строго глядела именно в его бороду. — Я не говорю... Я хочу лишь сказать, что на старости лет лучшее мое воспоминание будет... Это что? глинтвейн? ах, какая прелесть! Кто варил? Вы, сестра Дина? Я так и знал... Господа, сестре Дине — ура!..

— Урра-а-а!.. а-а-а!.. а-а-а!.. — грянуло за столом, особенно неистово на правом крыле.

— Мсье женераль, я хочу с вами выпить за... за что-то...

— С восторгом! — генерал стремительно обернулся на кокетливо-требовательный голос Наты.

— За... за... за одну вещь...

— С восхищением! — готовно ответил генерал. Приподнялся и через стол потянулся к Нате с стаканом глинтвейна.

— Я вам после скажу! — таинственно прибавила Ната, перехватывая негодующий взгляд сестры Дины.

— С восторгом! — повторил генерал и вдруг зашипел от боли, — сестра Дина жестоко ущипнула его под столом. Он едва перевел дух, но, сделав невероятное усилие, вздохнул как бы от избытка чувств и молча сел.

— Ну и глинтвейн! — покрутил он головой.

— Неужели вы слепы? — шипела у него над ухом сестра Дина. — Неужели вы не видите, что она — лгунья, вешалка, мещанка, низкое существо — эта Наташка?..

— Генерал! — страдающим голосом сказала сестра Осинина. — Скажите же что-нибудь... серьезное... довольно вам с Диной секретничать!

— Не ваше дело! — с воинственной готовностью отозвалась Дина.

Сестра Осинина застучала ножом по тарелке. Застучала и Дина, принимая это за вызов на поединок. Веселая трель понравилась доктору Недоразумение — застучал и он. Потом Абрамова и Ната. И когда дробь пестрых, сухих и звонких звуков разбежалась по всему столу, шум несколько упал. Сестра Осинина неожиданно сказала:

— Господа! генерал просит слова!..

Генерал, не ожидавший нападения с этой стороны, украдкой смирненько потирал горевшее болью ущипнутое место. Изумился:

— Вот тебе раз!

Но дружный гам, веселый и поощрительный, окружил его шумным ливнем криков. Пришлось встать. Долго откашливался, скреб голову и бороду, соображал, мычал.

— Мм... да... того... Я плохой оратор, господа...

— Это нам известно, — с ехидной ласковостью в голосе вставил Недоразумение.

— И обстоятельства, так сказать... не располагают к красно-речию...

— К делу! — слышался слева суровый приятельский голос Картера.

— Сейчас... Мм...только не сбивайте, а то совсем стану... то есть сяду...

— К делу! к делу! — закричали сестры Осинина и Абрамова.

— Хорошо... Сейчас. Так вот... я уж из прошлого, что ль...

Он туго и нескладно рассказал, что четверть столетия тому назад был в этот именно день на студенческом обеде у Мильбретта («существует ли теперь этот ресторанчик? — не знаю»), видел в первый — и единственный — раз Глеба Успенского, Михайловского, Владимира Соловьева, слышал умные речи. Но из всего слышанного прочно остался в памяти лишь анекдот, рассказанный Михайловским, — о том, как один иностранец попал в некую северную страну, а на него напали собаки. Нагнул он взять камень — камни оказались примерзшими. Иностранец удивился: вот, мол, какая страна есть — собаки отвязаны, а камни привязаны...

— Ну вот, господа, — генерал смущенно оглянулся кругом, — видите, что вспомнилось... ни к селу, ни к городу, как говорится...

Помолчал, усмехнулся и сел. Потом словно вспомнил вдруг, что так не делается в хороших домах, опять встал:

— Да! забыл: за ваше здоровье, господа!

Немножко рассмешил всех и вызвал аплодисменты.

Этим началась серьезная полоса. Встал мрачный Андрей Иваныч, врач с дивизионного пункта, призванный с земской службы, и бичующим тоном произнес речь на тему: «Сегодня я с вами пирую, друзья...» Долго колесил по сторонам, но благополучно дошел до занесенных

снегами окопов... Сестра Марья Ивановна, пожилая, немножко строптивая особа, поругавшаяся утром из-за яиц с Шурой и на целый день огорченная, горько заплакала.

Что-то порывался сказать учитель Лонгин Поплавский. Но на правом крыле, около доктора Петропавловского, подвыпившая и очень жизнерадостная компания запела песню. Кривой студент Кумов, так называемый Циклоп, лучший певец в отряде, начал «Из страны, страны далекой». Песня всколыхнула всех — подхватили дружно, громко, немножко неистово, но голоса звучали молодо, свежо, выразительно, и никого не смущало, что размеры перевязочной были тесноваты для такого шумного хора...

Потом доктор Петропавловский провозгласил многолетие гостям. Многолетие вышло эффектное, — любому протодьякону такое громогласие сделало бы честь. Пропели хоть и не так стройно, но с искренним воодушевлением.

Опять привстал Лонгин Поплавский и, поймав взгляд генерала, постучал пальцем в свою манишку. Генерал сказал на это:

— Добре! Ловите момент...

Учитель утвердительно кивнул головой: «понимаю». Нервно поправил галстук, покашлял в руку и словно прыгнуть нацелился, но опять сел. Генерал застучал ножом по пустой бутылке, стучал долго и настойчиво:

— Господа! Просит слова вот... пан Лонгин Лукич...

Учитель встал, обвел кругом робким, умоляющим взглядом, подержался рукой за воротник у горла, робко кашлянул и начал, — чуть слышен был жидкий, взволнованный голос:

— Шановни добродии...

Но тут же поправился, перевел:

— Ваши благородия...

Он говорил заикаясь, поправляясь, чтобы быть понятным, но слушатели все-таки понимали его плохо. Улавливали больше то, что звучало необычно для уха, в чуть-чуть комических сочетаниях: «демократичний державний лад», «права людини и громадянина», «грунт едності». Но одно было несомненно понятно: «пекучий нестерпимий биль» душой и телом истерзанного украинца и «трепетный живчик думки» его, — будет ли в державе российской, «перемоги» которой он от всего сердца желает, — будет ли он сыном или пасынком? будут ли дети его учиться на языке своей родной матери, и не будут ли они горькими сиротами в великой российской семье?..

Худой, маленький, он был комически-торжествен в своей манишке. Но к концу взволнованной своей речи он как будто вырос и в глубокой тишине общего внимания стоял, как артист, покоривший толпу волшебной силой таинственного обаяния. Что-то заслонило призрачный комизм пышных слов, торжественного тона, самой фигуры — хруп-

кой и придавленной, с робким, словно ожидающим удара, взглядом. В жидком, минутах совсем замиравшем голосе красноречивее всех слов разбито дребезжал стон перенесенных обид, и страхов, голода, заброшенности, бессильных терзаний перед разоренной родиной и опустошенным гнездом. И еще явственнее звучала горькая дрожь тоски неизвестности, темных сомнений перед завесой завтрашнего дня... Как живой символ стоял он, изболевший и горький, образ своего несчастного края, истоптанного миллионами чужих ног, оголенного, поруганного, окровавленного...

И долго после этой речи, на мало понятном языке, стояло смутное молчание в перевязочной.

Опять запел Циклоп — встряхнулись. Это была популярная в отряде песенка — «Разненастный день суббота». Наивная жалоба звучала в ее протяжных вздохах и грусть — тихая, туманная, как родные дали равнинные в день ненастный. Тихо, раздумчиво, почти дремотно занималась ее простая мелодия, подымалась, вырастала. Разливалась широкими переливами и терзала сердце сладкою тоской. И Бог весть что было в этой беспредметной тоске — смутная ли обида бессилия, потухшие ли грезы несбыточные, серый ли туман уныния — горького, как полынь — горькая трава, или глухая мука надломленного порыва?.. Но все пели и все выливали в этой песне свою интимную, затаенную боль сердца. Разбитым, стариковским голосом пел и Лонгин Поплавский, и трогательно звучал неуверенный его голос на этом единственном «грунте едности...».

V

Белая муть

Пять дней шла метель. Пухлый снег закутал землю мягким войлоком, завалил все пути-дороги, окопы, блиндажи и на время как бы умиротворил враждующих, потушил ежеминутную нервную напряженность и напряжение борьбы. Первые дни долетали еще редкие и глухие выстрелы с позиций. Мягкие, короткие звуки глухо стукали и бесследно тонули в белой замороженной тишине... Потом смолкли и эти редкие стуки. Безбрежная немота сковала землю. Стихла и метель. Лишь поземка крутила и несла облака белой пыли.

На расчистку дорог выгнали резервных солдат, баб, девчат, хлопцев и стариков — все население сел, местечек, деревень. Выросли высокие снежные валы по сторонам шоссе. Ветер нес облака снежной пыли, валы распухли в горные снежные цепи, дороги стали ущельями. Мелкий снег осел пухлой белой пылью в ущельях и сделал их непроезжими и непроходимыми. Езду проложили по полю, стороной от дороги, прямоком — через окопы и колючую проволоку, — все засыпал и сравнял снег.

Группа Б встряхнулась и радостно оживилась: подошла настоящая работа, какой давно не было, и словно вновь отыскался утерянный смысл монотонной, скучной жизни.

Обмороженные стали прибывать к вечеру пятого дня. Вымокшие, гремящие обледенелыми шинелями, солдаты быстро отогревались после горячего чаю, оживали, веселели, — познобления были незначительны: больших морозов не было, под снегом в окопах стояла грязь и вода, — но это-то и губило ноги.

Группа Б выдвинула на позиции чайный отряд. Милитон Петропавловский три раза в день телефонограммами напоминал о себе пункту: его отряду нужен запас хлеба, сала, консервов, чаю, сахару, керосину, спирту и т. п. Перечислял все предметы продовольствия, кончая сгущенным молоком и папиросами. Посылали. Но телефонограммы шли своим чередом, — очевидно, не очень весело жилось в землянке шумному доктору и требовалось как-нибудь разнообразить время.

Уполномоченный, он же — пан-генерал, пробегая глазами десятую телефонограмму, по содержанию ничем не разнящуюся от первых девяти, спрашивал в отчаянии:

— Кого же теперь посылать?

Керимов, ожидавший приказания по поводу новой бумаги, почтительно-равнодушно отвечал:

— Не могу знать, ваше п-ство.

— Пойми, — жалобно сказал генерал, — Берг болен... так? Транспортные командированы все до единого, вернутся — дай Бог — чтобы через два дня... погода — видишь?..

— Так точно...

— Антоша вместе с Газенкой третий день насчет фуража рыщут, Олейников отправлен в базу за припасами... У Глезермана вот какая щека: флюс...

— Так точно... Морда дюже пухлый...

— Не иначе как самому ехать... Но кто же здесь останется?

— Не могу знать, ваше п-ство... Бог останется... Все будет ладно...

Генерал поскреб голову, уставился взором в телефонограмму. Долго молчал, соображая. Керимов терпеливо ждал и с высоты своего огромного роста глядел на генерала застанным взглядом исполнителя.

— Ну, ладно... Бог — так Бог... Еду!..

— Слушаю, ваше п-ство.

Играл ветер по полю. Белая пыльная муть закутывала дали, белыми вихрами бежала по белой земле, кружилась, шипела, свистела, снежным песком била в глаза. Закутавшись до бровей башлыком, генерал предоставил полную свободу своему коню — идти, куда хочет. Крепкий сибирский жеребец, обычно озорной, тугой на удила, шел теперь деловито ровным, серьезным, осмотрительным шагом. Когда падал ветер, генерал одним глазом из башлыка видел белое поле, удивительно

напоминавшее родную степь с оврагами, балками, курганами и черной каемкой дубнячка на горизонте, — и тут те же балки, снежные холмы, телеграфные столбы и черный бордюр леса в стороне, — пустынность и безлюдье. Лишь кое-где маячили рассеянные по переметенным проследкам пешие и конные фигурки, забитые с одного боку снегом, согнувшиеся, озябшие.

Раза два жеребец проваливался в снег по брюхо. Лежал с минуту в раздумье. Генерал слезал с седла и тянул его за повод. Жеребец досадливо дергал головой: без тебя, мол, знаю, дай собраться с духом. И когда генерал бросал поводья, убедившись в беспомощности своих усилий, жеребец напряживался, делал прыжок-другой и, потрескивая задом, выбирался на твердое место. Во второй раз он подмял под себя своего всадника, но было мягко, не зашиб. Выбравшись из сугроба, он отряхнулся и виновато остановился, подождал, пока вылезет из снега тяжелый его хозяин. Хозяин сердитым голосом сказал ему знакомое бранное слово и ударил плетью по крупу. Жеребец потоптался на месте, покосился глазом: ударит или не ударит еще? Нет, не ударил — стал подтягивать подпругу. Жеребец деловито фыркнул — высморкался.

За генералом трясся верхом на белой лошади с желтыми боками Глезерман. За Глезерманом — обоз: две пары шершавых, запудренных снегом лошадок, двое дровней, которые удалось выпросить у Шкоды, — на колесах езда была до крайности трудная. С обозом зачерпнули горя. Вozy были не тяжелые, но в каждой ложбинке и балке гнедые кавказцы и чалые киргизы, всегда суетливые и старательные, тонули в рыхлом снегу по брюхо, выбивались из сил без твердого упора и в конце концов ложились, тяжело вода мокрыми, объиневевшими боками. Генерал и Глезерман слезали с своих коней и вместе с обоими солдатами брались за сани. Напирали плечами, поднимали, накатывали. Андрейчук орал диким голосом, хлестал кнутом по лошадиным спинам. Маленькие коньки напрягались, суетливо топтались в снегу, метались, сдергивали воз с места и через два-три шага вновь увязали. И уже бессилён был помочь кнут Андрейчука: бей — не бей, все равно — сил нет взять.

Как лошади, тяжело и шумно дышали усталые люди.

— В-вот и во-воюй тут... — уныло и горько говорил Глезерман, держась посиневшей рукой за подвязанную щеку.

Темные круги ходили в глазах у генерала. Он чувствовал, что в сапогах уже полно снега, ветер через башлык забрался за воротник черкески, за взмокшую рубаху и тонкими змейками ползет по мокрой спине. Кругом кружится снежная пустыня, белая шипящая муть, редкие, забитые снегом, усталые, зябко согнувшиеся фигурки, с трудом одолевающие напор ветра... Ничтожный овражек и в нем — мокрые, выбившиеся из сил лошаденки, мокрые, беспомощные люди — какое все простое, мелкое, жалкое, не хитрое. И это — основная ткань войны,

подавляющей воображение трагедии, которая в неразрешимый узел сплела высоту и бездну, самоотвержение и тупую тоску обреченности, героическое и низменное, страдание и мишуру!..

— Четвери, Андрейчук!

Андрейчук связывал вожжами хвосты жеребца и белой с желтыми боками Канарейки, укреплял вожжи на середине дышла, опять налегали плечами, орали, хлестали кнутом, сопели, — и четверка в оригинальной запряжке вывозила сани не твердое место.

До позиций по воздуху было не больше пяти верст, а в объезд — через Вержбовец и Ласковцы — считалось двенадцать. Выехали с рассветом, но до Вержбовца, костел которого был виден из Звиняча и казался совсем возле, добрались только в полдень. И больше часу ехали по селу — оврагом и улицей, — бесконечное число раз останавливались и жалась к стороне, чтобы пропустить встречные обозы санитарок. По всему пути работали лопатами девчата с сизо-румяными щеками и флегматичные, шмурыгавшие носами хлопцы в больших сапогах. Бравый стражник в венгерке, с плетью через плечо, ходил в глубине снежных ущелий и четко, с расстановкой, с чувством ругался. Хлопцы равнодушно сморкались, а девчата перебрасывались остроумиями и весело скалили зубы.

Гуськом тянулись, попеременно с санитарками, небольшие, но частые ватажки солдат в мокрых шинелях.

За Ласковцами, в поле, опять попали в белое курево поземки и ехали без дороги, руководствуясь вместо вех встречными санитарными повозками. Замерзшие, забитые снегом, огромные, как жернова, колеса у них уже перестали крутиться. Лошади не везли — выбились из сил. Иной костлявый одер, простоявший, видно, всю ночь без корма, затошала, дернет, шагнет раз-другой и станет, шатаясь. Человек в гипсовой шинели и гипсовых сапогах мерно и настойчиво хлещет его концами гипсовых вожжей, неторопливо выговаривая сквозь стиснутые зубы длинные ругательства, в виде увещания. Бьет ногой по втянутому животу, бьет кулаком по глазам, кротким и тупой тоской налитым. Но по-нуро стоит горькая животина с обледеневшей, поднявшеюся шерстью, бессильно равнодушная к ударам, немая, оцепенелая, — лишь заметь кружится, шипит вокруг нее и плачет тонким плачем...

Чайный пункт приютился в землянке среди чистого поля, на полпути между Ласковцами и окопами. По карте тут значился поселок Мазуры. От него уцелела одна халупа в низине, теперь занятая командой связи и временным перевязочным пунктом. Землянки, засыпанные снегом, терялись в сугробах. Лишь по дымку да по кучке солдат, лениво ковырявших снег лопатами, можно было установить их местонахождение.

Скуластый подпрапорщик, наблюдавший за солдатами, с обмерзшими усами пшеничного цвета, откозырял генералу и показал, как

пройти в землянку. Генерал отвернул мерзлый, запудренный снегом, гремучий, как жесть, брезент, закрывавший вместо двери вход в землянку, шагнул в темь и покатился по мокрым, скользким глиняным ступенькам вниз, в теплый погреб. Густым пахучим паром и дымом окутал его погреб, и в первый момент в желтом сумраке, в дымной мгле виден был только огонек лампы, жидким пятном расплывшийся налево от входа. Потом обозначились темные фигуры — сидели на лавках и стояли с жестяными кружками люди в мокрых, прелью пахнущих шинелях.

Потом голос санитара Липатова из-за дымной завесы сказал:

— Это Петр Тимофеич?

— Здравствуйте, Иван Николаевич. Не вижу вас только... А-а, вот... Ну, как вы тут?

— Да ничего. Вот действуем...

— Вижу, вижу...

Генерал пригляделся, — можно было видеть уже всех солдат с кружками, мокрые, как в руднике, стены, крепи потолка, с которых капало, кипяtilьник из белой жести, мешки с хлебом на лавке — все скудное хозяйство. Духота, дым, жидкая грязь на полу, капель с потолка — как скудно в этой норе и неуютно...

— Дымно у вас тут, — сказал генерал.

— Есть немного.

Липатов, серый, молчаливый, с плебейским лицом, тихий человек, никогда ни на что не роптал. Природа в избытке наделила его высокой мудростью терпения и философской невозмутимости. И голос у него был тихий, деликатный, девичий.

— А где же тут сестры помещались?

— Сестры вчера еще в Ласковцы отбыли.

Генерал вопросительно посмотрел на Липатова, — чуть-чуть как будто иронией звучало это «отбыли». Но Липатов стоял перед ним, с жестяным чайником в руках, как всегда — серый и смирный, и ничего нельзя было прочесть на его замкнутом, спокойном лице с длинным носом.

— Что же, не понравилось?

— Как видно...

Липатов налил солдату, протянувшему кружку, из чайника, придерживая крышку средним пальцем, и мягко прибавил:

— Да тут и действительно не очень удобно. Главное: угарно...

Он деликатно выгораживал сестер, как нянька балованных ребят.

— Ну, да, — ответил генерал, охотно соглашаясь. Обобрал последние мокрые сосульки с усов и бороды, рассмеялся: — Я же был против их поездки. Но Осинина такую истерическую сцену закатила... Э, шут с ними! Эти «слабые женщины» вьелись мне в холку!.. Ну что ж, вам пора отдохнуть? Вас сменяет Глезерман. Охотой вызвался...

— Слушаю.

Они вылезли из землянки на воздух. Генерал, жмурясь от белого света и снежного песку, щекотавшего лицо, засмеялся от удовольствия, — так приятен был после духоты и дыма холодный чистый воздух, белый свет и все эти пустынные холмы, курившиеся белым куревом. Из курева выросли рассеянные темные облака, плыли к землянкам. Ближе — они сжимались, умаялись в росте, принимали очертания зябко согнувшихся человеческих фигур, занесенных снежной пудрой.

— В халупу? Да, да... Мне и Милитона повидать надо. Отлично. Иду...

Генерал потоптался, оглянулся на мерзлый валенок, торчавший из-под брезента, потер лоб.

— Так вы не ждите, Иван Николаевич: поедят лошади, можете ехать. Ну, пока до увиданья...

В халупе было тепло и — после землянки — даже уютно. Доктор Милитон Андреевич, начальник связи подпоручик Козлов и казачий прапорщик резались в преферанс. За чаем с леденцами генерал быстро согрелся.

Петропавловский весело рассказывал о сестрах — Осининой и Гиацинтовой, — изобразил в лицах, как постепенно угасало в дымной землянке их самоотверженное рвение. Прапорщик и подпоручик восклицали: «Ого!» — когда он вставлял крепкие семинарские остроты. Генерал чувствовал, что тяжелеют веки, дремота тонким туманом заволакивает лица и звуки, отодвигает их вдаль, наливает тело блаженным равнодушием ко всему на свете.

— Я шесть перевязок ночью сделал и двадцать рублей продул вот поручику... — жужжал где-то далеко бас доктора, — вазелину так и не привезли?..

— Нет, — с трудом стряхивая дремоту, отвечал генерал.

— Я же телефонировал!

— Где ж его взять?

— А сало соленое прислали. Соленым смазывать нельзя. Зачем оно мне?

— И сала свежего не нашли...

— Солдаты сожрали, впрочем...

Вошел старик, хозяин халупы, быстро стал говорить что-то. Похоже — какую-то жалобу. Раньше всех уловил ее суть казачий прапорщик.

— Сапоги у него отобрали. Ну, пойдём, деду, разберем...

Когда они вышли, доктор подмигнул с благодушной иронией:

— Казачество... Всю ночь не спали, рыскали с факелами, — и сейчас не дремлют, как видно. А должен сказать: молодцы! Всю ночь таскали солдатишек. Фролов тут есть один, — двоих сразу доставил:

одного увязал на седле, другого на спине пер — сам за хвост лошади держался... Умилил он меня, подлец!..

Прапорщик вернулся и сказал:

— Кажется, затихает немного. Ветер как будто убился.

— Ну что с сапогами? — спросил генерал.

— А черт их разберет! Казак говорит: «Он сам мне дал надеть, пока мои высохнут». А старик головой мотает: не давал, дескать... Еще стаканчик не прикажете?

— Нет, покорно благодарю. Я должен ехать...

Генерал вздохнул: было так хорошо сидеть в тепле, слушать знакомые остроты доктора, чуть-чуть дремать, закрыв глаза, прислушиваться к тихому пению белой замети, к далекому захлебывающемуся причитанию солдатской матери и к тихо ноющей боли сердца. Никуда не хотелось.

— Я должен доехать в окопы, — прибавил он.

— Зачем это? из любопытства? — спросил доктор.

Генерал и сам не знал хорошенько — зачем? Конечно, больше из любопытства. Но было совестно в этом сознаться. И он сказал с значительным выражением:

— Есть у меня бутылка коньяку...

Все трое — доктор, подпоручик и прапорщик — прижав к груди карты, в радостном изумлении затаили: а-а-а! — и долго не переставали. Генерал смутился.

— Хор-ро-шее дело! — воскликнул доктор.

— Двести тысяч выиграть — вот какое это дело! — растроганным голосом прибавил подпоручик.

— Господа, бутылка все-таки предназначена в окопы, — тоном извинения сказал генерал, и смущенно поскреб голову.

— Мы пойдем за ней хоть в геену огненную! — воскликнул прапорщик.

Два заметенных снегом всадника мелькнули в окне и остановились перед халупой. Слез с коня один — тот, что был в полушубке, видимо — офицер. Он постучал ногами в чулане, отряхая снег, и вошел в комнату.

— Веселая погодка? а? — простуженным голосом спросил он, разматывая башлык, и ласково прибавил длинное пряное словцо. Вышло это у него сочно, кругло и весело.

Игроки отложили карты, — неловко играть при старшем по чину, а вошедший был штаб-офицер. Он обобрал сосульки с усов, поздоровался со всеми за руку и попросил подпоручика вызвать по телефону штаб дивизии.

— Ведь не идиотство ли? — говорил он, принимая от прапорщика стакан чаю. — В двух шагах ничего не видать — ни противнику, ни нам, одинаково. Нет! смена по уставу — ночью! Но как теперь ночью

вести роты? Куда зайдешь? Нет! правило, видите ли, как можно! И вот довел-таки до ночи...

Он пересыпал свою речь крепкими словцами, но звучали они у него благодушно и забавно, и в смышленных серо-голубых глазах его не переставал играть юмористический огонек привычного балагура. Так же весело и свободно он говорил и со штабом по телефону, хотя по временам отвечал кому-то почтительно:

— Слушаю, ваше п-ство...

Доктор Петропавловский вполголоса, чрезвычайно благожелательным тоном, сказал генералу:

— Значит, вам не к чему теперь в окопы... Вот, полковник, — обернулся он к веселому подполковнику, — уполномоченный нашего отряда... никак не удержим: дай не дай, в окопы еду...

— Пожалуй, сейчас оно любопытно, — сказал серьезно подполковник, — но смена, показать некому. Вы как-нибудь после приезжайте, милости просим...

— Видите ли, есть у него бутылка коньяку, — продолжал доктор, скашивая глаза на карман генераловой черкески.

— Дело не вредное...

— И вот он... не хотел бы везти ее обратно...

— Но придется, — вздохнул генерал.

Доктор изумленно остановился, окаменел. Засмеялись.

— Неужели повезете?

— Повезу, — твердо сказал генерал.

...К вечеру в самом деле убился ветер, — стало тише. Осела белая муть. Посветлели поля и лежали просторные, холодные, чистые. Прошли на позиции батальоны 8-го полка. Свежие, одетые в сухое, отдохнувшие солдаты шли бодро, весело, перебрасывались шутками, и было что-то бодро волнующее в этом неторопливом, ровном людском потоке, в широком шуршании и шорохе шагов, в смутном жужжании говора.

Генерал возвращался назад вместе с веселым подполковником. Говорили о солдате. Подполковник выказывал свой взгляд отрывочными фразами, говорил немного, но вдумчиво, серьезно, неожиданно мягким, теплым тоном, без крепких словечек.

— Не всех досчитаемся — да, жаль. Но что ж? В порядке вещей. А у противника? То же самое. А может быть, и хуже. Вчера наши на заставу наткнулись — человек семь и идти не годились, остальных привели — чуть живы... Я уверен, Скобелев именно теперь бы и пошел в атаку — даже вот с такими сопляками...

Они объезжали кучку немудрящих воинов в мокрых шинелях и растоптанных валенках, — десятка с три или четыре. Солдаты медленно, понуро тянулись гуськом, ныряя в сугробах, — мокрые шинели подмерзли, обледенели и погромыхивали, как пустые кубышки.

— Какой роты? — крикнул подполковник.

Пестрые голоса недружно ответили что-то пестрое. Генерал слышал в хвосте:

— Тринадцатой, вашбродь!.. Сямой!..

Подполковник окинул их долгим, понимающим, хозяйственным взглядом. Помолчал.

— Чудо-богатыри... — проговорил он ласково и добавил четкое многоэтажное слово.

— Роты теперь, поди, уж на месте, обсушиваются, приводят себя в порядок, а вы ползете, как...

Обледеневшие шинели-колокола стояли, апатично-покорные, усталые, почтительно-равнодушные к этому отеческому нравоучению. Изредка шмурыгали носами.

— Доблестные герои! — помолчав, воскликнул подполковник и опять прибавил крепкое словцо: — Христолюбивое воинство!.. Оплот отечества!..

Он артистически-ловко, отчетливо, весело сочетал возвышенный стиль с неожиданными зазвонистыми выражениями, — неискоренимый юморист и великолепный мастер чувствовался в причудливых узорах этой забавной словесности. Непередаваемый живописный комизм разлит был и в его апатичных слушателях. Минуты две или три, пока подполковник высыпал, размеренно и отчетливо, свой богатый словесный запас, они стояли очарованные и недвижно созерцательные, как стоит в летний день на песчаной косе или в обмелевшей речонке стадо телят и, замороженное знакомой мелодией, слушает переливчатые голоса тростяных дудочек, на которых играет босоногий пастушок.

И когда подполковник, исчерпав свой веселый лексикон, тронул тощую свою кобылицу и порысил дальше, чудо-богатыри загрели обледенелыми шинелями и тоже тронулись вслед за ним. Генерал, объезжая их, слышал, как кто-то, шмурыгнув носом, с почтительным восхищением протянул:

— Ну и зе-ле-нил!..

VI Зося

За годы войны Зося стала совсем военным человеком. Звиняч не раз переходил из рук в руки, деться было некуда, пришлось побывать под обстрелом, пережить дни отчаяния и бесприютности, видеть разорение насиженного гнезда, хватить голоду и холоду.

Но на живом все зарастает. Затянулись, заросли и раны детского сердечка. И в самой разоренности родного угла, в бивуачной тесноте, непристалости, для маленькой Зоси была своя прелесть. Она искрен-

не не понимала, почему иногда мать ходит-ходит, да вдруг всплеснет руками и навзрыд зарыдает над разбитым роялем. Почему порой отец качает безвременно поседевшей головой так горестно и безнадежно, и тихо, угасающим голосом, кого-то жалобно убеждая, повторяет:

— Божья воля... Божья воля...

Зося ко всему приспособилась быстро и была довольна. Мать не раз печально говорила, что вот уже семь лет девочке, а она и читать не умеет. Зося не находила в этом большой беды. Другое дело — башмаки прохудились, но и это претерпеть можно, как можно приучить себя спать на двух стульях или в уголку на полу, рядом с Теклей, от которой так тепло пахнет коровьим хлебом. А утром добыть у повара Новикова горячей вареной картошки с крупной солью и бежать за костел, смотреть солдатское ученье, слушать солдатские песни и маршировать в ногу с ротой, когда она идет на обед.

Любила также Зося провожать транспорт с ранеными. Был у ней приятель — большой, черный солдат Карапет, конюх. Иногда, если Зося очень шалила около лошадей, он сердито рычал на нее:

— Дуришь? зачем дуришь такой болшой дэвочка? Ухо атрэжю!

И страшно тарацил свои огромные, черные глаза. Но Зося не боялась ни этих страшных глаз, ни белого оскала зубов, — привыкла. И знала, что Карапет все равно посадит ее с собой рядом на облучке двуколки, и она от школы прокатится за костел, до перекрестка дорог, где стоит гипсовая Богоматерь.

Но самое высокое удовольствие доставлял ей турок Мамет-Оглы, возивший на сером муле воду из речки на питательный пункт. Когда она издали видела голову, красиво обмотанную башлыком, она знала, что это — Мамет, и бежала навстречу.

— Мамет-Оглы! Мамет! добры-день!

Он отвечал ей тихим, ласковым лошадиным ржанием:

— Гы-гы-гы.

И Зося каждый раз с любопытством заглядывала ему в рот и удивлялась, почему это у него такая черная дырка, как раз там, где у всех людей передние зубы.

Мамет сажал ее на мокрый бочонок. Упираясь ногами в передок дрог, Зося с высоты радостно обозревала весь свет — знакомый, но сверху такой новый и интересный. Ей очень еще хотелось, чтобы в руках у нее были вожжи, как у Карапета. Но Кючук, маленький мул, возил воду без вожжей, знал дорогу. Иногда Мамет вместо вожжей давал Зосе хвост Кючука, очень грязный и жесткий, но это было ничего: Зося с удовольствием подергивала за этот хвост, как Карапет дергал вожжи. Кючук терпеливо выносил это, но иногда для потехи брыкался и попадал ногой по передней оси. Зося звонко хохотала. Ласково, по-лошадиному ржал Мамет:

— Гы-гы-гы...

Памятный для Зоси день начался слезами. Она ждала Мамета с речки и от скуки обгрызала еловую веточку. Показался Мамет и серый Кючук с бочонком. Зося хотела крикнуть: «День добрый!» — глотнула воздуха и подавилась, — острая боль в глотке заставила ее закричать благим матом. Через несколько минут весь пункт метался в тревожной суматохе: Зося подавилась.

Ахала и вопила мать, голосила Текля, кричал повар Новиков:

— Доктора! доктора давайте!

Прибежал испуганный, белый, как стена, отец, прибежала дежурная сестра Маня Савихина. После недолгих поисков наткнулись в парке на Милитона Андреевича, того седого пана-доктора, с которым очень дружила Зося: пан-доктор делал ей из бумаги замечательные стрелы, которые перелетали через всю столовую и ловко попадали в цель.

Пан-доктор взъерошил седые волосы, посмотрел в рот Зосе и спокойно пробасил:

— А-а... ну, это мы сейчас... Сестра, пожалуйста, пинцетик...

Сестра постучала в стену перевязочной — фельдшеру Мартынычу: пинцет!

— Х-хо! это нам — раз плюнуть... по-чеховски! — басил доктор, держа Зосю за смуглый, с янтарным отливом, подбородок и смеющимися глазами глядя в ее черные, как тернинки, глаза, налитые слезами. Бас этот действовал, как теплое дыхание печки с хлебами на проголодавшихся и озябших, — приятно, ласково, успокоительно.

— С-сию минуточку...

Пан-доктор взял из рук Мартыныча блестящую металлическую штучку и сказал:

— Ну-ка, раскрой ротик, да побольше... Ну же! Пошире! Чтобы две шоколадные плитки сразу можно было посадить... Вот!..

Прищурив глаз, пан-доктор ловко ухватил концами блестящей штучки еловую иглу, застрявшую в глотке, и Зося сразу вздохнула с облегчением.

— Ну вот... ну? а ты плачешь...

Слезы уже прошли, но Зося все еще икала от конвульсивных рыданий.

— Ну, поцелуй меня!

Она поцеловала пана-доктора и укололась об его подбородок, на котором выступила короткая щетина. Засмеялась.

Потом пошло все удивительно забавно и смешно. Веселый был день. Успела съездить за водой с Маметом, играла в снежки с Попадейкиным и Керимовым, ходила с сестрами Осининой и Гиацинтовой искать по Звинячу, нет ли где голодных солдат. На кухне, как всегда, а в эти последние недели особенно, готовилось много обедов. Все ждали, что, как было в метель, прихлынут мокрые, озябшие, усталые солдатики и их надо будет накормить и согреть хорошими щами. Солдаты и после

метели охотно заглядывали на пункт — уже не очень усталые, сухие и веселые. Но потом кто-то там, у них, распорядился, чтобы таких не пускать обедать, и с тех пор стояли у дверей два сердитых солдата с красными повязками на рукавах, — и это очень волновало сестер потому, что некому было есть приготовленных обедов.

Сестры возмущались. Не раз при Зосе они наседали на генерала, чтобы он потребовал от кого-то удалить солдат с красными повязками на рукавах. Генерал посмеивался, отмахивался от них. Один раз куда-то ходил и вернулся с офицером — таким же толстым, как и сам. Офицер тоже посмеивался и говорил о каких-то лодырях. Пан-доктор тоже посмеивался. Сестры негодовали. Некрасивая сестра Софи шипела, как сердитая гусыня, и говорила генералу:

— Я бы вам рекомендовала с недельку посидеть в окопах... Вам это пошло бы на пользу!..

Зосе было жалко, что генерал послушает сестру Софи и уйдет в окопы, — он частенько давал Зосе шоколадки. Но, слава Богу, генерал не ушел, остался на пункте, и сестры каждый день пилили его. А иногда он кричал отчаянным голосом:

— Посадите меня на эту ель, я брошусь с нее вниз головой, — жизнь опостылела!..

Вместе с сестрами и Зося ходила по Звинячу и спрашивала у встречных солдатиков, не хотят ли они есть? Многих из них она знала в лицо и по фамилии.

— А подивиться, пани, це Хвиник йде?..

Курносый солдатик Фиников сделал под козырек, подмигнул Зосе глазом, а сестрам сказал, улыбаясь во всю улицу:

— Здра-и-желаем, сестрицы!

— Здравствуйте, здравствуйте, Фиников! — радостно отвечали сестры. — Ну, вы обедали?

— Так точно, сестрицы...

— Может, зашли бы чайку попить?

— С удовольствием бы, сестрицы, для разгулки времени почему бы не зайтить, ну... никак нет, невозможно... Сами знаете...

— Да, да... увы!.. — вздохнула сестра Гиацинтова.

— Строго стало... тово...

Фиников опять подмигнул Зосе — весело и беззаботно.

— Да... к стыду и сожалению... — мрачно сказала сестра Осинина.

Фиников, видимо, смотрел на вещи не столь мрачно, как сестры, не чувствовал ни стыда, ни сожаления и широко улыбался, показывая редкие, широкие зубы.

— Знаете, сестрицы, начальство, оно — взглядное: как ему взглянется... «Не сметь!» — и кончен разговор.

Он высморкался в сторону, утер нос рукавом и, как бы мимоходом, добавил:

— Мне ведь об Масляной, на прощенный-то день, — помните? — взглянули — извините — в задние ворота...

— Как?

Обе сестры большими, изумленными глазами глядели на беззаботно улыбающегося Финикова.

— Так точно. Двадцать пять...

Зося с испугом увидела, как краска залила вдруг лицо пани Осининой, и сестра умоляющим голосом проговорила, почти простонала:

— Не может быть!

— В двадцатом веке! — прибавила маленькая Гиацинтова тем грозным, твердым голосом, каким она обыкновенно распекала только генерала.

— По штанам, конечно, не по голому, — успокоительно сказал Фиников, — а кабы по голому, извините, — покрасили бы по первое число...

— Боже мой! И это — в двадцатом веке!

— Так точно, — вздохнул Фиников.

— Что — «так точно»? — сердитым голосом сказала сестра Осинина. — Деревянный вы человек! Вы как будто и не чувствуете! Как будто это и не вас касается... «Так точно...».

Фиников слегка смутился и, оправдываясь, сказал:

— Так точно, сестрица. Старшой и то говорит: «Никак ты, Фиников, железный, — и не охнул!» Я говорю: ничего, солдат солдата не убьет, мол...

Зося не очень понимала, почему сестры сердились на Финикова, а Фиников был весел, подмигивал ей глазом и ни на кого не сердился. Сестры, вернувшись домой, с негодованием говорили: вот что делается у нас в двадцатом веке! И было немножко похоже, что им доставляет удовольствие негодовать и рассказывать, как претерпел в двадцатом веке Фиников за посещение питательного пункта. Они рассказали об этом всем сестрам, студентам, генералу. Генерал выслушал, но отнеся к рассказу равнодушно:

— Вот злонравия достойные плоды! — сказал он и прибавил: — Вашего, конечно... Это я из «Недоросля»...

Сестра Гиацинтова вспыхнула и стала вдруг похожа на злую черную собачку с короткими ножками.

— Ваше сердце радуется, конечно? — едко бросила она.

— Хорошо бы и вас вот под ружье поставить... часика на два...

Сестра Дина воинственно закричала, наступая на генерала:

— Руки короткие!

— Как вы смеете! Мы вас в сугроб!..

Зося замерла от восторга и страха: сестра Дина щукой кинулась на генерала и стала толкать его в снег. Генерал уперся. На помощь Дине бросилась Марья Ивановна, потом маленькая Абрамова, за ней и Зося. Генерал несколько мгновений как бы раздумывал, падать или нет,

потом грузно ткнулся в сугроб. Текля, стоявшая у хлева, всплеснула руками и раскололась звонким смехом. Выскочил из кухни Ромка, потом повар Новиков — захохотали. Вышел из палаты пан-доктор, загудел басом: у-у! у-у! хо-хо-хо! гу-гу-гу! И все хохотали над толстым генералом, выбеленным в снег...

Было так весело, так смешно, что Зося долго не могла успокоиться — все душил ее буйный смех. И даже вечером, когда ужинали и после ужина сидели за чаем, она, сидя в дверях маленькой спальни, не могла без смеха взглянуть на толстого, серьезного генерала, слушавшего споры студентов. Неудержимый смех накатывал внезапной волной. Мать оглядывалась и грозно потрясала пальцем. Зося изо всех сил крепилась, но все-таки фыркала, словно бутылка игристого квасу, и вслед за ней Текля, и обе, уткнувшись головами в кровать, тряслись с минуту, как в жестокой лихорадке.

В этот вечер долго сидели. Зося уже насмеялась вдосталь, притихла, стала дремать. Отец играл на скрипке. Пан-доктор и Ромка пели.

— Дэ-э-э-ж ты... доля... — запевал Ромка протяжно и грустно, немножко петушиным своим тенорком...

Пан-доктор, втянув подбородок и сделав страшные глаза, вступал басом и быстро, словно стараясь обогнать Ромку, выговаривал:

«Дэ-ж ты, доля? дэ-ж ты, доля?»

И Зосе казалось, что он ругает кого-то своим толстым голосом. Она нашла старую бумажную стрелу и пустила в него. Стрела пролетела очень близко от генерала. Генерал сделал вид, что испугался, дернул головой и расплескал стакан с чаем. Опять хохотали все. И звончей всех Зося.

Вошел казак, вестовой из штаба корпуса. Подал генералу пакет. Как и все, Зося притихла и с замиранием любопытства следила, как генерал вскрывал пакет, как зачем-то отдал конверт казаку, хотя мог бы отдать и ей — на стрелы, — как стал пробегать глазами бумагу, а бумага, словно презябши за дорогу, мелкою дрожью трепетала в его руке.

— Господа, послезавтра — поход, — сказал генерал, и Зосе показалось, что голос не его, а чужой, словно кто-то сзади уткнулся лицом в широкую генеральскую спину и нарочно измененным, глухим, таинственным, пугающим голосом сказал слово «поход», от которого вдруг все всполошились, как мухи, пригревшиеся на окошке, от звука хлопущки. У мамы глаза стали большие, испуганные, отец сразу как-то сжался в комочек.

Поход? Это же весело, даже сердце прыгает от радости! Поход — так поход! Зося сядет на облучок к Карапету, маму и Теклю — в двуколку, папу с солдатами, Ромку — к студентам... И будет так интересно!..

Жаль, что скоро ушел генерал, ничего еще не прибавил приятного. Ушли и сестры, и студенты. Пан-доктор походил немного по столовой, разгреб пальцами седые свои длинные волосы и повторил несколько раз угрюмым басом:

— Да, надо собираться... сматывать удочки... надо...

И как будто только что увидал Зосю, подошел, взял ее за подбородок и проговорил ласково, грустно:

— Ну, Зося... славная дивчина... расстаемся, значит?

Мама заплакала. И Текля. Отец покашлял в руку, потрогал седые свои усы, потупился.

— Шо-ж, Божья воля... Божья воля... — потухшим, покорным голосом сказал он.

— Не плачьте, пани, — сказал маме доктор, — не вечно война будет... вздохнете свободно когда-нибудь...

— Ни, пан-доктор! — резко, с горьким отчаянием закричала мама. — Нам умирать теперь... Ни денег, ни хлеба, ничего, ничего! Пенсия пропала! Эмеритура пропала! Придут солдаты, последнюю корову отберут!..

— Божья воля... Божья воля...

Отец повторял это так печально, как будто была уже вырыта могила и надо было всем ложиться в нее. У Зоси навернулись слезы — так горько стало.

— Мы вас земскому союзу сдадим, там народ хороший...

— Ни, пан-доктор! Ах, пан-доктор! за что нас Бог так? Вот думали: ну, будем живы при добрых людях... Ни... опять солдаты будут, все разорят...

— Божья воля, — сказал отец, отвернувшись и быстро утирая пальцами глаза.

Пан-доктор покашлял. Ничего не сказал. Вышел, забыв сказать привычное «спокойной ночи»...

На другой день Мамет уже не возил воды на питательный пункт. Стояли фуры у школы. Весь день собирали перевязочную, аптеку, вытряхивали солому из тюфяков, свертывали и прибирали одеяла, брезенты. Столы и скамьи оставили. Но студенты очень жалели, что их нельзя увезти, — готовы были пожертвовать складными своими койками ради знаменитых изделий своих рук. Генерал не соглашался: и без того много груза набиралось.

После обеда и посуду уложили в ящики. Стало пусто на кухне и в школе, голо и сорно. Простор, а некуда было прислониться. И скучно-скучно.словно придавили сердечко Зоси тем тяжелым чугунным стаканом снаряда с остро разорванными краями, в которой Новиков бросал кости и огрызки хлеба, — ни вздохнуть, ни побежать, ни попрыгать нет сил, нет охоты — уткнулась бы куда-нибудь головой и зарыдала...

И вечером, когда прощались с ней сестры, она рыдала долго и неутешно. Так и уснула в слезах, не раздеваясь, уткнувшись лицом в вытертый плюш диванчика.

Утром не будили ее — сама проснулась. Удивилась, что светло, а никто не стучит на кухне и не звенит чайной посудой Зеленков, — она

так привыкла к этому приятному, уютному тихому звону стаканов и ложек. Вскочила, осмотрелась. Сиротливо валяются под столом починенные солдатом Доменкой башмачки, и никого в комнатке — ни мамы, ни Текли. Жутко стало...

Надела башмачки, разыскала свою шубейку с потрепанными рукавами, башлычок, оделась. Не умываясь, выбегла на двор, — никого. За церковью и плацом, от дороги, доносился дробный ливень громяющих колес, стук, зыбкое шуршание говора и движения. Где-то далеко — за костелом, видно, — качались мягкие, ритмические волны солдатской песни, знакомой-знакомой мотивом, выкриками и присвистом.

Зося вспомнила все... И побежала.

На плацу ветер сердито закрутился около нее, поднял мерзлый сор и снежную пыль, сыпнул в глаза, холодными лапами поскреб спину за плечами. Она сжалась, втянула голову в плечи и быстрее побежала к канаве у шоссе, где пестрой стеной стояли селяне в белых овчинных кожухах, бабы в клетчато-красных платках и темных свитах, а больше всего разномастных хлопцев. По шоссе густой серой смолой текли знакомые шинели, потемневшие до пояса, давно не просыхавшие, измятые, свинцово-тяжелые. Хмурые и молчаливые, точно не выспавшиеся, шагали люди не в ногу, цепляясь штыками. Качался кое-где всадник на тощей лошади, торчали как журавцы, шесты санитаров. Чуть шевелились издали серые ряды, как туча пешей саранчи. Останавливались на заторах, стояли долго, с терпеливым равнодушием ждали чего-то, снова шевелились по чьей-то команде. И, казалось, нет им конца, нет перерыва.

Кто-то крикнул. Пробежала, передаваясь невидимыми крикунами, команда по серым рядам — они сжались, притиснулись к одной стороне дороги, очистив ту, у которой стояла Зося. Гремя, ныряя на ухабах, обгоняясь, пронесли на рысях патронные двуколки, за ними — казачья сотня. Потом опять пехота затопила шоссе и потекла мутно зыблющимся серым потоком.

— Рысью!

Команда донеслась издали, пробежала назад, вернулась к первым рядам. Зашевелилась быстрее серая медлительная лавина.

— Подтянись! подтянись!..

Серые ряды, как слои рыхлого щебня, отставали, отламывалась и неуклюже рысили. Это все были очень знакомые Зосе лица — скуластые и тонкие, белобрысые, темные, румяные и буро-серые. Изредка мелькала борода — огненно-рыжая, черная. Но сейчас же тонула в мелкой ряби юных, безусых лиц. Были — вялые, хмурые, сердитые. Были веселые, с белым оскалом зубов, с задорными прибаутками и крепкими словцами. Припрыгивали, обгонялись, и Зосе хотелось побежать с ними взапуски. Длинные, тощие парни смешно топтались в огромных валенках, тяжелых, как старое корыто около коровьего хлева. Но весело кричали:

— Трогай, белоногий!

— Понес! понес!

Кто-то желчным, сердитым голосом прокричал:

— Не бежи! На тридцать семь верст не набежишься!

Но голос утонул в веселом гомоне прибауток, в разлиivistом шуршании солдатских ног. Бег уже нельзя было остановить, — заражало и увлекало зрелище впереди бегущих. Бежали офицеры, бежали солдаты, — одни легко и весело, другие неуклюже, тяжело, прихрамывая побитыми ногами. Маленький солдатик с трубой граммофона в руках, в больших серых валенках, немного отстал, — вещевой мешок за спиной, винтовка и огромный серый лопух рупора придавили к земле его жидкую фигурку. Смуглый веселый прапорщик, обгоняя его, закричал шутливым угрожающим голосом:

— Спицын! Спицын! Спи-и-цын!

Солдатик надал, растоптанные валенки громко зашлепали, запрыгал зеленый лопух и настиг удалявшиеся серые спины.

За ним пошли знакомые Зосе двуколки с крестами, и на облучках угадала она Мещерякова, Сливина, Кайзера, Гегечишвили. Она крикнула: «Сливин!..» Но Сливин наехал на переднюю двуколку, которая застопорилась на ухабе и потаранил ее дышлом. И голос Мещерякова, невидного за кибиткой, сердито прокричал:

— Черт, леший. Не видишь? Весь задок высадил!

— Да-а, поди-ка удержи...

— Слабой! Морду-то наел, в три дня не...

И опять загремели дальше. А за ними опять двуколки и фуры. На гнедом Рустеме галопом проскакал грузный пан-генерал и позади его на шершавой, желтобокой Канарейке — несомненно — пан-доктор. У Зоси радостно встрепенулось сердце.

— Пан-доктор! — крикнула она.

В толпе хлопцев он не мог разглядеть ее. Она спустилась в канаву и, проваливаясь в снегу, побежала следом, крича:

— Пан-доктор! пан-доктор!

Но все дальше и дальше убегала желтобокая, лохматая Канарейка, и тонул в широком треске колес голосок Зоси.

— Пан-доктор! — крикнула она и в отчаянии заплакала в голос. В горьких слезах она пропустила черного Карапета, не слышала, как он, нагнувшись с облучка, прокричал ей, скаля белые зубы:

— Зачем тут бежишь такой маленький девочка? Ухо атрэжю!..

— Пан-доктор! — кричала Зося, проваливаясь в снегу, плакала слезами сердитого отчаяния...

